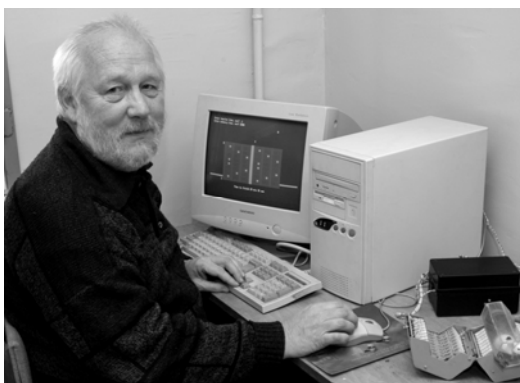

ПРОЗА: ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Алексей Яшин
(г. Тула)

ВТОРАЯ ДРЕВНЕЙШАЯ*



*О, на что только ты не толкаешь
Алчные души людей, проклятая
золота жажда!*

Вергилий «Энеида», кн. III

Миша Афремский хорошо отметил с однокашниками окончание журфака МГУ. Родная его тетка Елизавета, сестра матери, у которой Миша жил все годы учебы, при всей ее терпимости, даже слегка побранила племянша, вернувшегося после трехсуточного загула. Впрочем, ругала-укоряла для проформы и памятуя чувство ответственности, ибо хорошо знала его компанию, ребят и девушек, по нынешним временам почти что агнцев небесных. А потом Михаил утром, днем и ближе к одиннадцати вечера аккуратно докладывал о себе по телефону. Голос его и узнаваемые теноры, дисканты и фальцеты приятелей и приятельниц успокаивали Елизавету Филипповну. Она же раз в день докладывала по междугороднему сестре в Т.: «Миша отдыхает с друзьями. Скоро едет домой».

Она даже слегка обижалась: квартира пустая, могли бы и у них собраться! Ей и самой было скучновато: супруг в подмосковном санатории, где он привык отдыхать еще со времен службы в министерстве, а дочь уехала на лето на заработки в Италию — по своей специальности переводчицы. Вот и Миша загулял, бросил ее... А ведь привыкла почти за пять лет к племяннику, жалко расставаться. Елизавета Филипповна вспомнила к случаю: как весело встречала «миллениум» вся Мишина группа у них дома, тогда еще безусыми второкурсниками. Благо квартира, полученная мужем еще в бытность зав. отделом главка, позволяла по своим размерам и обстановке; хотя не новомодного евродизайна, но хорошего вкуса эпохи позднего Брежнева: румынская супружеская спальня, чешский сервант, польская стенка... кухня тоже не сборная солянка. А после смерти матери четвертая комната считалась гостевой, в основном, для Т-их родственников, часто наезжавших. В ней и Миша квартировал. Племянник у нее почему-то ассоциировался, воспринимался душой как внук. Может

* Журнальный вариант.

потому, что она и сестру свою, моложе почти на пятнадцать лет, понимала очень долго дочерью. Воспитывала ее до переезда в Москву: супруг на повышение пошел из промышленного отдела обкома партии.

Елизавета Филипповна вздохнула, но долго не могла заснуть после вечернего звонка племянника. Было грустновато, но как-то светло, без слез. Вот и Миша в жизни почти что определился! Не сбился с пути в это сумасшедшее время...

♦ Три дня гульбы даже на осторожном по воспитанию Мишеле, как привычно звали его в школе и в университете, сказались.

*Я думала, ты в обществе, с друзьями,
А ты один, больной, в плену тоски.
И у тебя, я вижу, под глазами
Следы ночной бессонницы, мешки.*

Этими строками из «Марии Стюарт» Юлиуша Словацкого, лукаво усмехаясь, пробудила его ранним утром тетка Елизавета, до выхода на пенсию преподававшая литературу в платном лицее с гуманитарным уклоном и контингентом, в основном, из дочерей столичных нуворишей того среднего ранга, у которых денег на лондонский колледж еще не хватает, а учить детей в обычной школе уже стремно.

...Строки давнего польского поэта застряли в голове Мишеля и периодически всплывали в слегка тяжелой голове весь быстрый (но не для него, несчастного) двухчасовой бег коммерческого автобуса от Домодедовской до родной Т.

Все же Мишель старался — и не без успеха — привести в порядок свои мысли перед решающим шагом, который предстояло свершить не далее как завтрашним днем. Мысли эти имели две примерно равные, но антагонистические составляющие: условно пессимистическую и не менее условно оптимистическую.

Первая из них собственно от Мишеля не зависела, ибо все мы не в силах выбирать родителей — за исключением, как зло шутили журфаковцы, наших выдающихся демократов: можно сегодня называть себя потомственной самурайкой, а завтра, например, перед выборами — потомственной псковской крестьянкой. А вдова почтенного академика в пору наибольшей публичной активности даже путалась в идентификации своей ближневосточной личности, называя себя то грузинской, то армянской княжной...

Так вот, Мишелю определенно не повезло с родителями в этой стране и в это время. Опоздал он родиться лет на двадцать-тридцать. Вот тогда был бы он сыном подающего надежды доцента, племянником министерского дядьки, выпускником престижнейшего вуза с ясной перспективой не менее престижной в то время журналистской карьеры: годик-другой работы в родном городе, потом прыжок в столицу, загранпоездка, вальяжная жизнь человека свободной профессии... По тем временам все замечательно.

Мишель подозвал автобусную буфетчицу, во рту заметно сохлось. С неудовольствием глотая тепловатую «пепси», он продолжил пессимистическую тему.

♦ Но ведь иные времена, в духе которых Мишель рос и воспитывался, почитай с детсадовского пребывания? Иные потребности, другие цены, другие возможности... А в эти времена, как учили классики и основоположники, которых изучали Мишины родители, все или почти все зависело от родителей. Как говорится, где родился, там и пригодился. Увы.

Но главный негатив в другом: не родился он троюродным племянником кого-либо из тех великих, что в начале девяностых раздавали родичам нефтяные промыс-

лы, авиакомпании, металлургические гиганты. А родился он от своего отца со старорежимным увлечением совершенно невероятной наукой — физикой металлов. Из-за этой странной физики даже женился уже за тридцать лет. А сейчас, когда в стране половина населения торгует, половина ворует, все носится с докторской диссертацией за несколько лет до пенсии.

Хорошо хоть мать, красивая и бодрая в свои сорок пять лет, вовремя смекнула получить второе образование, экономическое естественно, работает главбухом в устойчивой фирме — что-то из остатков отечественной промышленности за бугор гонят — и кормит всю семью.

Итог в общем-то невесел: родители не те, воспитание слишком интеллигентное, характер несколько мягковат и так далее. А жизнь неумолимо диктует, орет взбесившимся телящиком, строками желтой прессы: без денег ты — дурак. Купи и продай... лучше продай мать родную. Про родину уже никто и не вспоминает: трижды как продана.

Мишель обо всем этом рассуждал без эмоций, как истинное дитя своего времени и места. Ни зависти, ни горечи особой, ни оптимизма, ни сколь-либо выраженного пессимизма; просто констатировал. Эпоха роботов.

Суммировать позитивные моменты новой жизни он не успел: автобус на рысях вкатился в родной город, где частые торможения на светофорах, рывки и толчки, постепенно освобождающие салон пассажиры мешали сосредоточиться.

Главное же — хоть место работы по специальности гарантировано. Потому и уехал из Москвы так скоро, особо не разгулявшись. Место могли занять.

♦ Действительно, с местом этим следовало торопиться, упустить — себе дороже обойдется. Дело в том, что Мишель, хотя и типичное порождение эпохи «часа волка», но в чем-то он унаследовал от папани толику старорежимного идеализма. Поэтому, учась на журфаке, особенно на старших курсах, совершил глупость. Нет бы, как большинство однокашников, все практики, в том числе и преддипломную, проходить в скандально известных центральных и многотиражных газетах, рупорах демократии и рыночных реформ, набить руку, обзавестись полезными знакомствами среди журналюг и редакционной братии... Нет же, поддался на уговоры отца, что де у желтой прессы век короток, а вот реноме научного журналиста высоко ценится даже на Западе. Хорошо хоть ума хватило не сунуться по наущению образованного Афремского-старшего в узкоспециальный академический журнал по физике металлов! Вот бы смеху на журфаке было?

К моменту первой серьезной редакционной практики в Москве начал выходить толстый и достаточно серьезный журнал, задуманный по типу дореволюционных историко-политических и литературно-публицистических изданий — от пушкинского «Современника», «Северных цветов» и «Московского телеграфа» до «Вестника Европы» и «Русского инвалида» — и предназначенный для научной и педагогической интеллигенции, не перешедшей случайно в «челноки».

Самое существенное — солидную финансовую базу журналу организовал создатель его, один из столпов раннедемократической эпохи, кстати, внук Каменева и внучатый племянник аж самого иудушки Троцкого... В советское время этот двойной внук ректорствовал в крохотном, но узкопрестижном столичном институте гуманитарного толка, а к началу второго великого передела собственности в новой России развернул по всей стране — от Калининграда до Владивостока — гигантскую сеть коммерческих вузов с торгово-воровской и криминально-юридической специализацией. Теперь ему, как эстету и снобу, понадобился солидный рупор печати.

Мишеля поразил роскошью и научной солидностью первый номер нового журнала. Семен Евгеньевич выбор одобрил и позвонил кой-кому из московских знако-

мых и дальних родственников в ученом мире. Те и порекомендовали второкурсника. В этой же редакции Мишель делал дипломную работу по теме *«Легенды и предания в обработке Мартина Бубера в эмигрантской русской публицистике 1920–30-х годов»*. Защита диплома на журфаке прошла блестяще, сам декан выступил с похвальным словом, а в родном журнале напечатали выдержки из исследования. Кафедра научной журналистики (так ее на журфаке именовали для простоты понятия) рекомендовала Мишеля в аспирантуру. Но здесь даже Семен Евгеньевич засомневался: не то время, перебор будет...

К окончанию МГУ Мишель запоздало сообразил, что сейчас работать в толстом журнале, даже элитном, могут только скучающие дочери миллионеров, отчаянно некрасивые, которым не могут помочь выйти замуж даже папины евры и баксы. Опять же Мишель реально оценивал ситуацию: для Москвы он не тянет. Надо начинать с родной провинции, а тут и случай подвернулся.

◆ Наутро после приезда и обеда в кругу семьи с шампанским за обмывку диплома, проспав почти двенадцать часов, Мишель наконец-то отошел от суеты последних дней. Раннее летнее утро приятно освежало, время в запасе имелось, и Мишель продолжения удовольствия для неспешно пошел в редакцию «Юного ленинца» через центральный городской парк. Да оно и по пути: комплекс издательских зданий, где помещалась редакция, и дом Мишеля на углу Краснознаменной и Октябрьского проспекта, что в самом центре города, как раз и располагались с южной и северной сторон парка соответственно. Парк являлся гордостью и визитной карточкой вообще-то безалаберного по архитектуре и всему прочему старого провинциального города. После пробензинной в зените лета столицы этот солидный кусок центра города казался курортной зоной. Вчера, оговаривая с сыном последние штрихи ответственного визита, Семен Евгеньевич все-таки попенял сыну, променявшему научную журналистику на желтую прессу. К случаю процитировал из взятого накануне в университетской библиотеке академического журнала из статьи, посвященной борьбе российских академиков с лженаукой, слова телевизионного профессора Сергея Капицы * : *«Думаю, что если когда-нибудь будет суд над нашей эпохой, то СМИ будут отнесены к преступным организациям, ибо то, что они делают с общественным сознанием и в нашей стране, и во многих других странах, иначе квалифицировать нельзя»*.

Мишель, превозмогая воспитанную вежливость в отношении к родителям, все же рассмеялся с оттенком приобретенного в столице цинизма:

— Новый Нюрнберг уважаемые академики предвещают? Напрасно. Команду Гитлера судили, как сам прекрасно понимаешь, западники. Сталин бы их просто расстрелял. А сейчас и в России, да и почти во всеми мире, кроме азиатского мусульманского и китайского, кто заправляет? Не будет, папá, нового Нюрнберга, его величество Бакс и великий князь Евро не позволят!

Впрочем, сам Мишель умело отвел беседу от щекотливой темы...

А вспомнил этот эпизод вчерашнего дня Мишель в прямой связи с визитом в редакцию: в какой степени позволительности будет откровенность предстоящей беседы? Так ничего и не решив для себя, Мишель мерно пошагал по самой дальней боковой аллее обочь каскада прудов.

◆ От советской власти городу, как и любому другому областному центру, достались две газеты: бывший обкомовский «Ленинец» и бывший же комсомольский «Юный ленинец». Еще каждый район области имел свою малоформатку, а крупные

* Коль скоро упоминается конкретное лицо, то приведем ссылку на источник: журнал «Вестник Российской академии наук», 2004, Т. 74, № 1. С. 20.

заводы-фабрики, НИИ и КБ (а мелких тогда не было), оба городских вуза выпускали для своих нужд многотиражки. Больше и не требовалось, как мы все сейчас убедились...

После лихой танковой атаки на Дом Советов на Краснопресненской «Ленинец» как-то тихо увял и вовсе исчез, поскольку редакционные ортодоксы не сумели скорее разобраться в обстановке и потеряли читателя, устремившегося в своей массе к демократическим ценностям.

Иное дело с младшим братом бывшего органа обкома КПСС. Хотя какие-то десять с небольшим лет отделяют нас от тех славных времен первоначального накопления через разграбление, а уже кажутся далекой историей: ведь время-то наступило динамичное, год за пять старорежимных, умиротворенных считается! Поэтому не грех и напомнить, что первыми в схватку ринулись профессиональные комсомольцы из райкомов и обкомов, ведь жива в них память о Павке Корчагине, ударных пятилетках, БАМе и иных всесоюзных комсомольских стройках века! С унаследованной неистовостью бросились они открывать первые в городе публичные дома под видом досуговых клубов, ставить на попу в людных местах ларьки-сникерсные, по-крупному играть на новомодных товарно-сырьевых биржах, собирать с доверчивого, но жадного на дармовые проценты народа мешки денег в вырастающих чуть не каждый день «пирамидах»...

Но самая горячая пора пришла с чубайсовыми ваучерами и повальной прихвятизацией. Дошло дело и до СМИ. Еще до ГКЧП главный редактор, выходец из обкома ВЛКСМ, двадцатисемилетний Сергей Горбунков мигом переориентировал бывший комсомольский орган на свежее восприятие действительности, взяв за идеал-ориентир гремящий в те годы «Московский сексомолец». Теперь же шеф-редактор издательской фирмы «Юный ленинец» Сергей Анатольевич Горбунков, недавно отметивший свое сорокалетие, владел самой тиражной газетой города, далеко опережая два-три десятка других газет и газетенки.

Правда, ближе к дефолту бывший его заместитель, с которым Сергей Анатольевич вусмерть рассорился по финансовым делам, нашел солидного инвестора с боевым прошлым, которому срочно нужно было отмыть крупную сумму, и основал бульварную многостраничную, в цвете, газету «Толковище» — с ударением на предпоследнем слоге.

Хозяин пухлой газеты не пожалел денег и нанял опытных консультантов по *VIP* и *PR* в СМИ, создавших великолепный имидж новому изданию. Теперь уже передовой «Юный ленинец» казался едва не ретроградом по сравнению с нахальным «Толковищем». По всему городу стояли рекламные щиты с девизом на фоне пляшущих канкан красоток: «У нас читают «Толковище» — не нужна иная пицца!».

Началась затяжная война между ведущими городскими — и областными — рупорами демократии — война за массового читателя, что всегда сопряжено с непроизводительными затратами финансов. Бензину в огонь подлили наглые журналисты и даже технические работники обеих газет: требуя прибавки к жалованью, они чуть что угрожали перейти к конкуренту.

Первым опомнился более умный Сергей Горбунков и обратился за третьей помощи к местному авторитету Щекастому, курировавшему в бандитском раскладе города СМИ и учреждения культуры с образованием и слышшему интеллигентом: в свое время окончил ПТУ и два курса приборостроительного техникума... На исторической стрелке был забит меморандум о разделе сфер влияния. Суть его состояла в следующем.

Статус «Юного ленинца» относился к условно интеллектуальному, а его бывшего конкурента — к условно народному. То есть «ЮЛ» (к такой аббревиатуре было сведено название газеты — дабы не упоминать имени Вождя) предназначался для

идиотов и просто малоумных с высшим образованием, преподавателей вузов, студентов, бывших инженеров, учителей, клерков частных фирм, милици... нет, милиция вовсе газет не читает.

«Толковище» же адресовалось всем остальным, то есть женщинам — независимо от образования и возраста, лавочникам, школьникам, безработным, пенсионерам, грамотным бандитам, мелким служащим частных фирм, проституткам и прочая, прочая.

В «Юльке» — это уже популярное прозвище — брали профессионализмом сотрудников, а в «Толковище» — рекламой и пестротой охвата самых обыденных сторон народной жизни. Впрочем, тематика обоих изданий была выражено демократической, антисоветской и, вообще-то говоря, сходной. Но подавалась с учетом умственного развития (а может, и неразвития?) потенциальных читателей, начатков воспитания и образования. Преобладали секс и баксы, а также выраженная оппозиция к губернской и городской властям — область входила в «красный пояс».

Взять пресловутый секс, то есть б...во, говоря по-русски. «Толковище» имело постоянную двухполосную рубрику «Секс в небольшом городе». В сегодняшнем номере, например, корреспондентка с псевдонимом Груня Трахбальская подробно объясняла, что регулярно делать минет — значит крепить семью. А в следующем выпуске газеты некто под болгарской фамилией Стоян Кривосуев доверительно сообщал, что некоторые т-ие девушки ведут интимные дневники, попутно делалась похвала столь грамотным девушкам, подробно записывая антропометрические и физиологические характеристики своих многочисленных партнеров; здесь пальму первенства держали южане и начинающие молодые наркоманы.

А вот интеллигентная «Юлька» время от времени разрожалась большой статьей о быте польских публичных домов с русской охраной и посетителями из торговых чеченов. Живописные картины в статье завершались аналитическим обобщением.

Свою специфику в «Юльке» и «Толковище» имели и публикации на тему баксов и губернской политики.

Именно в «Юльку» и шел задумчивый Мишель.

♦ Денис Самойлович Шамордин, заведующий главнейшим в «Юном ленинце» отделом политхроники и публицистики, тоже шел на работу пешком, но не по парку, а по тротуару Октябрьского проспекта. Был он слегка недоволен, но это не хроническое стариковское утреннее раздражение, нет, только что разменяв седьмой десяток, Сэмыч, как его за глаза звала вся редакция и полгорода впридачу, ощущал себя если не кандидатом в отряд космонавтов, то уж во всяком случае играющим тренером в лаун-теннисе.

Да, собственно говоря, не недовольство огорчало Дениса Самойловича, а понятное раздражение, когда хоть на йоту меняется содержание размеренной, установившейся жизни... а вот это уже из комплексов шестидесятилетних. Опять же не прошло негодование — это при его толерантном характере — от истории двухнедельной давности. Привыкнув к отечественным реалиям, он и не подозревал, что у самостийных соседей ситуация еще более клиническая. А все дело в почте.

Полмесяца назад проездом из Москвы в родной Харьков остановился у него на денек двоюродный племянник, мелкий коммерсант. По опыту зная, что почта между Россией и Украиной работает из рук вон плохо, Денис Самойлович и попросил Илью прихватить несколько экземпляров только что вышедшей в Т. его публицистической книги «Перестройка глазами провинциала» и уже из Харькова выслать в Запорожье тамошним родственникам.

С тем бóльшим изумлением и негодованием услышал он через несколько дней в телефонном звонке от Ильи, что незалежная почта имеет указание не брать к пере-

сылке печатную продукцию, «дрюкованную в Рссиянии», без особого на то разрешения. А кто должен разрешать — этого почтарки не ведали... должно быть, папа Римский. Поначалу Денис Самойлович подумал: Илья пьян и плохо шутит, но тот его разубедил. Тьфу! Немного успокоился, когда Илья пообещал со временем доставить книги в Запорожье, коли случится оказия по коммерческой деятельности.

А вот сегодняшнее мелкое раздражение — от предстоящего разговора с сыном доцента Афремского из технического университета, или как там он сейчас называется, после серии переименований? Отказать милейшему Семену Евгеньевичу нельзя. Во-первых, везде надо иметь полезных и обязанных знакомых... А во-вторых и последних, ему действительно нужен был расторопный и бойкий на перо собкор взамен перебежавшего в губернский официоз Витьки Толмачева — на место завотделом; в деньгах Витька проигрывал, но собирался делать политическую карьеру.

Но все одно, нужно будет долго вводить в курс дела желторотого выпускника журфака, выбивать из юной головы всякие высокие штили, словом, натаскивать для большой охоты. Уже свернув в переулок, упирающийся в здание-башню редакции, Денис Самойлович отошел, даже почувствовал интерес к новому знакомству.

Кстати, он свысока смотрел на своего главного редакционного конкурента, завотделом бизнеса и предпринимательства Рогальского, имевшего нетрадиционную половую ориентацию и даже, по слухам, в молодые годы привлекавшегося по редко используемой статье о мужеложестве. До отсидки, правда, не дошло...

◆— А-а, Миша! Заходи, дорогой, заходи. Вот молодец Семен Евгеньевич, истинно сказано: вовремя позвонить в нужное место хорошему знакомому!

Денис Самойлович поднялся с кресла, обогнул продолговатый совещательный стол, дружески похлопал по плечам Мишеля.

— Присаживайся, дорогой, а я вот насупротив тебя умоощусь, побеседуем...

— Я вас от дел не отрываю, Денис Самойлович?

— Ка-а-кие дела? Сейчас летняя засуха, в отделе с утра я сам-один; кто в отпусках, кто под видом служебного задания бездельничает, а иной просто и честно хронически на час-другой опаздывает. Да и кому в такую распрекрасную погоду нашу газетенку читать? Даже пенсионеры разбрелись по своим плодоовощным дачкам. Бизнесментеры — эти все на Канарах, вузовские и школьные педагоги законно два месяца отдыхают от «полоумных» студизусов и школяров. А все остальные в «Толковище» про пляжный секс читают и конспектируют... Ну, как там первопрестольная новобуржуазная? Как журфак, Ясен-то еще бодрячком?

— Вы знаете его?

— А кто же его не знает, кто в последние сорок лет в МГУ учился, на журфаке тем более. Такое впечатление, что он был деканом со времен Елизаветы-царицы, со времен основания... Как это у нас пели на междусобойчиках: «Я спросил у Ясена: где-е-е моя стипендия?» Да-да, когда этот фильм на экраны вышел, еще ездил экзамены сдавать; я ведь на заочном учился. По первому образованию учитель истории, местный пед окончил.

— Поют так же, Денис Самойлович, правда, слово «стипендия» уже со смехом распевается...

— Да-а, растет благосостояние трудящихся, растет как хрен, в глубину земли. Ну да хватит о грустном. Нам, старикам, есть о чем вспомнить, а молодым, как говорится, всегда дорога есть, главное, маршрут верно выбрать, багажа предрассудков меньше взять и — вперед к победе капитализма! Ха-ха! Да, давай-ка без официальных, а то пока ты тщательно имя-отчество выговариваешь, за день рабочий с полчаса набегит. Наши все меня шефом кличут, за глаза Сэмычем, а из других отделов и служб — каждый в силу своей ущербности или воспитания, что, впрочем, одно и то

же. Родители говорили: я неделю назад в гостях вашего дома был, Семен Евсеевич любезно пригласил. Редкой души человек! Ученый выдающийся. Жаль, редко встречаемся, суэта эта мелкотравчатая нашего брата журналюгу заедает. Но матушкой твоей воистину восхищен: настоящая русская красавица, умна, деятельна! С такими родителями, Миша, и от тебя многого ожидаю. Вот что, мне к главному на планерку сейчас, а ты пока дуй в отдел кадров оформляться; я уже звякнул туда. Да, черкани заявление, я продиктую и завизирую. Далее на сегодня свободен, все равно мне к полудню на презентацию какой-то дури в Выставочный зал нужно по обязательке. А завтра с утра — как штык!

◆ Началась этим теплым, ласковым летом трудовая деятельность Мишеля. Сэмыч бросал его для приучки в самые затхлые места: дескать, научить сначала из г... конфетку делать, а из высших материй и дурак гешефт соорудит!

Но у Дениса Самойловича, матерой акулы пера провинциального рóзлива, была своя школа ускоренного натаскивания. Помимо обычных, служебных замечаний, кратких поучений, ремарок и отчетов испытуемого, Сэмыч с новыми сотрудниками в первые месяц-два проводил регулярные сам-двое дидактические беседы.

Свыше десятка новобранцев, со временем — если не спивались — стали матерыми журналогами. Беседы с Мишелем Сэмыч проводил по пятницам после официального окончания рабочего дня. День этот выбирался и из чисто психологических соображений: день начала отдохновения от пятидневной гонки. Дело в том, что «Юлька» выходила с понедельника по четверг в классическом черно-белом четырехполосном формате, а в завершающую пятницу, как и конкурентное «Токовище», на прилавки киосков «Роспечати» и пресловутых оранжевых ларьков «КП», сваренных из танковой брони, выбрасывался «Юный ленинец» в цвете и на сорока страницах среднего формата. В пятничный выпуск сливалась вся чушь, не включенная в черно-белую «Юльку», подробная телепрограмма и откровенно заказные статьи от местных воротил бизнеса и демократической политопозиции.

Поэтому, свалив пятничного монстра и заверстав базовый материал на понедельник, редакция пустела на два дня. «И нашим и вашим выходные!» — подшучивали в ближней пивной заскочившие туда по причине *уйк энда* соборы Генка Смирнов и Макс Гольдштейн.

Мишель, пожелав приятного отдыха коллегам Генке и Максу, плелся в свой кабинетик, доставший от предшественника, перебежавшего в губернский официоз, наводил порядок на рабочем столе, так воспитан отцом-педантом, без интереса тыкал по клавишам компьютера, наугад листая страницы интернета.

Где-то ближе к шести в дверь заглядывал шеф отдела и делал отмашку пухловатой ладошкой. Мишель выключал комп и шел вослед Сэмычу, но не в его кабинет, а в торец этажного коридора, где оба и располагались на широком подоконнике.

— Понимаешь, Мишаня,— объяснил Сэмыч в первую пятничную беседу озадаченному столь неформальным местом наставничества сотруднику,— оно, конечно, мы сейчас и на хрен никому не нужны, будут еще тратиться на подслушку в нашей шарашке! Но я старого закала журналюга, поэтому у меня уже идеосинкрзия на приватные беседы в служебных кабинетах и тому подобных местах. Уж извини, зад не отсидишь.

◆ Первую пятничную беседу Денис Самойлович педагогично начал с разбора очерка Мишеля, опубликованного в сегодняшнем же «цветном» номере. Собственно педагогичным явилось только начало; Сэмыч похвалил подопечного за «обстоятельный разбор темы и широту охвата проблемы века в скромном объеме газетной пуб-

ликации». Мишель не успел даже порозоветь от похвалы, как шеф беззлобно матюгнулся и устроил настоящий разбор-нагоняй:

— Мишаня! Ты для кого изводил бумагу и чернила?..

— Денис Самойлович, я на компе набирал, так что...

— Молчи! Он еще и иронизирует!

Сэмыч внимательно посмотрел на Мишаню, лицо которого от начальной розовости переходило в красноту досады.

— Смысл же моего тебе вразумления в том, что надо закрывать себе рукой глаза на реальный мир, когда то требуется, оставляя только щелочку: видеть частичку мира, желательно искаженного.

Для кого выпускается наша газета? — Для среднестатистического обывателя со средним и высшим образованием, оболваненного телящиком, сбитого с толку уродством последних пятнадцати лет нашего прозябания. По уровню мышления, то есть его отсутствию, этот наш читатель уже вплотную приблизился к обывателю западному, более того — американскому, то есть полному идиоту во всем, что не касается баб, баксов, жратвы и самодвижущейся жестяной коробки. А если он еще и работает, а не пьянствует на пособие для негров или вэлфер* для латиносов, то в круг его интересов входят две-три механические операции на конвейере или по заворачиванию гамбургеров...

Зачем, Мишаня, метать бисер? Понятно, тебе хотелось из шкуры вылезти, по показать свою журфаковскую квалификацию и начитанность. Тем более, что тема злободневная: снижение рождаемости в современной России. Но зачем вместо всем понятного сожительства употреблять «конкубинат» — слово из медицинской энциклопедии?

— Так сейчас повальное увлечение кроссвордами, даже шоферы и проститутки на досуге их чиркают, много новых слов узнают...

— Не перебивай меня. Кстати говоря, раз такой умный, то должен догадаться: засилье кроссвордов и сканвордов — это опять же для окончательной дебилизации масс трудящихся и не очень. Это на американцах давно проверили: разгадывая эти штучки-дрючки, обыватель забивает себе голову отдельными, не связанными друг с другом словами, приучается потому и мыслить бессвязно, что приводит к функциональной неграмотности. То есть человек вроде и читать умеет, но смысл связного текста, речи уже не воспринимает. Только отдельные слова из ограниченного их набора. Как в ширпотребовском компьютере. В Америке таких идиотов уже добрая половина. А наша задача какая? Правильно, догнать и перегнать! Как светлой памяти Никита Сергеевич говаривал...

Но — к теме вернемся. Правильно все, нынешние недоноски жениться не желают, сожительствуют, трахаются в свое удовольствие и детей не рожают. Но как ты это подаешь в очерке? Разводишь целую теорию с экскурсами в дальнюю историю, пишешь о мировых тенденциях, вырождении белой расы, «Зеленую книгу» Муаммара Каддафи и новомодное сочинение Бьюканнена из Штатов о грядущем мировом засилье желтых и негров цитируешь... Зачем пугать на сон грядущий людей?

Наконец, к чему эти неуместные параллели: дескать, даже в насквозь католических Испании и Италии такая же ситуация паскудная с рождаемостью?

— Не понимаю все же, Денис Самойлович, что такого криминального в очерке? Если только негры... политкорректность там всякая.

— Да наплевать нашему доброму полуумку-читателю на политкорректность. В газетах областного ранга эта вольность допускается, я имею в виду политкоррект-

* Пособие для официальных эмигрантов в США.

ность. А вот негры — это наше светлое будущее... шучу, конечно. Здесь надо осторожнее в выражениях. Вот в Воронеже студента черного хлопнули пацаны, да и у нас, помнишь наверное, несколько лет назад здоровенного такого студента из Габона прирезали. Шуму было на всю губернию! Правда, оказалось, никакой он не студент, а нелегалом барменом в кабаке для нуворишей баксы сшибал, первый к нашему парню прицепился... да разве в этом дело. Государство у нас интернациональное, обывателя против черных побуждать никак нельзя.

А мое общее неудовольствие твоим очерком в трех слова такое... Однако, пойдем ко мне в кабинет, попьем кофейку, а потом вернемся на подоконник разлюбезный.

◆— Эх, подоконничек, не одни штаны на нем протер! А, скажу тебе, раньше газеты были интереснее, информативнее, как сейчас говорят. Вот когда передовицы чуть не с лупой по тексту и наоборот прочитаешь — чтобы при обратном чтении случайно не выпало чего аполитичного — несколько раз, так даже пролетарский девиз на всех языках, кроме грузинского и армянского, запомнишь на всю жизнь. Это в центральных изданиях; был у меня эпизод по молодости, в столице работал, да не закрепился...

Но до сих пор от зубов отскакивает: «Барлык елдирдин пролетарлары биригиндер!» Или вот: «Пролетархои хамаи мамалхатхо як шавед!». Это на каких-то азиатских языках. А вот работал у нас давно татарин, потом куда-то делся. Так раз со вчерашнего веселья у себя в кабинетике лист бумаги на стене закрепил, а на нем фломастером написал: «Ленин мыш, Ленин кыш, Ленин тохтамыш!». Хорошо дело ограничилось взъсканием в нашей первичке; парторг у нас душевный был, хода дальше не дал. Не помог и русско-татарский словарь, с помощью коего Фирьяз доказал, что это точный перевод на татарский девиза: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет вечно жить!».

Отделался весельчак почти пустяком, правда, неделю парторга коньяком после работы поил. Только коньяк этот Вадиму Леонидовичу не в то горло пошел. Вскорости его из парторгов поперли. И только в начале девяностых узнали случайно, что душка Фирьяз по линии того самого ведомства трудился у нас кротом смотрящим... Бдительность нашу проверял.

Ну, это к слову. Хотя, как думается старому еврею, редко ошибающемуся, еще год-другой, и у нас партком с медвежьей эмблемой объявится. А вслед за тем потянутся и новые Фирьязы. Старик Маркс, даром что сын раввина, как в воду смотрел, переиначивая гегелевскую спираль развития к текущей и долгосрочной политике.

Однако же вернемся к нашим кэмелам-верблюдам.

Искусство журналиста в том и состоит, что, будучи даже сверхумным, он пишет глуповато. Это льстит читателю, который и себя начинает примеривать к мыслящему существу, оставаясь полуобезьяной.

И второй момент: журналист, в отличие от писателя, всегда служит. Кому мы сейчас служим в нашей «Юльке» — это тема отдельной беседы.

Короче говоря и в качестве сегодняшнего резюме: где-то по осени, когда твой очерк уже напрочь вылетит из дубиноголов нашего читательского электората, ты его переведешь на понятный язык и опубликуешь, изменив название. Во-первых, никаких итальянских параллелей. Никаких негров и китайцев, только родные пенаты. О вымирании нации — вполголоса, скороговоркой. Главный мотив: беспредельная свобода выбора, даже грядущего вымирания. Дескать, хочет молодежь без забот о детишках, так за это и сражалась она на баррикадах...

— Извините, Денис Самойлович, какие баррикады? Если только пива выжрали столько, что заслон из пустых ящиков образовался?

— Ха-ха, молодец! Это я так, зарпортовался, все же четверть века на партсобраниях околесицу нес... Ну, неважно, главное — свобода.

— Как осознанная необходимость,— съязвил Мишель.

Сэмыч шутливо погрозил пальчиком:

— Не расслабляйся. Именно свобода без границ и краев. Со времени французской революции, которая великая, этой свободой миллионам и миллиардам дурней голову морочат... Это как про вора, что шапку украл и кричит: «Держи вора!».

Добрым словом упомяни службу планирования семьи; эти труженники, как мне кажется, зарплату прямо из ЦРУ получают... А в самой Америке Буш-младший эти конторы прихлопнул в первом же своем указе.

А недобрым словом, как бы вскользь, вспомни эпоху тоталитаризма советского, как запрещали коммуняки свободолюбивые аборты, как с холостяков драли налоги за бездетность. А главное — во всем вини батьку усатого. Про нынешних коммунистов из КПРФ не упоминай. Они сейчас в прогаре, им любое упоминание — реклама.

— Кстати, а отец мой партбилет хранит, не выбрасывает. Раза два даже в зюгановскую партию вступить хотел; мать отговаривала.

— А я что? Не храню? Да он у меня в сейфе лежит. Память... а потом, вдруг спираль истории сделает оборот на нашей еще жизни? Такие вещи надо хранить.

Вот собственно и все для первого раза. Толк из тебя получится. Чую это. Пойдем по домам. До Краснознаменной нам по пути, пешочком пройдемся, зайдем в кафешку, что у твоего дома, примем по стопке.

◆ Чем больше набегало пятничных вечеров на опасливом подоконнике, тем больше Мишель восхищался своим шефом, его уверенной педагогической дидактикой, отработанной методикой введения в профессию ангажированного журналиста. Однажды Мишель даже поинтересовался, а не пишет ли Сэмыч долгими зимними вечерами и прохладными ранними летними утрами по заказу некоторого заинтересованного ведомства учебника с грифом «Для служебного пользования»?

Денис Самойлович похвалу принял с кислотоватой улыбкой, мол, твоими бы устами, да... Дескать, много таких желающих за солидный гонорар, да не всякому доверят. Но и это все сладкие фантазии, по таким темам учебников не пишут, тут опыт, передаваемый, как в античных философских школах, из уст в уста, из поколения в поколение.

В одной из первых бесед Сэмыч объяснил, как топором вбил, отношение к самой щекотливой теме в газетном деле — к национальной:

— При всех немислимых извивах внутренней и внешней политики, Мишаня, государство наше остается многонациональным. Кстати, хорошо запомни: выражения типа «эта страна», «это государство» негласно позволительны только столичным *VIP*-персонам из числа наиболее именитых политиков, журналистов, телекомментаторов, преимущественно, из числа имеющих двойное, а то и тройное, гражданство. Они уже неприкасаемые, но не в индийском кастовом смысле, а наоборот. Нам же, серым провинциалам, указано использовать только местоимение «наше».

Опять же наименования некоторых национальностей в провинциальных демизданиях к употреблению запрещены. Это опять же прерогатива героев многочисленных капустников на центральном телевидении. Им и позволено рассказывать анекдоты и воспоминания об актерской кухне с прямым текстом. Это, кстати говоря, безусловно выполняет и оппозиционная печать, причем любая: центральная и провинциальная. Им, бедным, вовсе приходится прибегать к эвфемизмам типа «лицо демократической национальности». А прямое наименование — табу, как и в советские добродушные времена.

Итак, пресловутый национальный вопрос. А он у нас короток выйдет: в газетах типа нашей этот вопрос отсутствует. Мусульмане — переданы центральной печати, благо и их забота: в Москве нынешние ее хозяева поселили миллион бакинских тру-

дящихся. Чечен нам тоже трогать не позволено. Да и опасно это, прирезать могут. Цыгане?... Их трогать тоже нельзя. Почему? Увы, сам понять не могут. С Индией, откуда их выгнали триста лет назад, что ли боятся отношения испортить?

Но вот в похвалу этих инородцев, хоть и умеренную, чтобы народ не перестал нас читать, иногда рекомендуется доброе слово вставить. Мол, чеченский *фермер* (слово-то какое уродское!) бывший колхоз «Заря коммунизма» в образцовое ООО «Аксакал» превратил. Азербайджанцев хорошо к благотворительности подначить. И так далее, благожелательно.

А вот кого ругмя ругать позволено даже в провинциальных газетах, особенно когда надо отвлечь внимание трудящихся от очередного кризиса в верхах, дефолта там, международного унижения державы, так это русских фашистов...

— Так это в Москве скинхеды, — невежливо перебил учителя Мишель, — подозрительно хорошо и вовремя организованные и экипированные, а здесь-то где этих виртуальных фашистов отыскать?

— Дадут редакционное задание, так и отыщешь. Кстати, для всех щекотливых тем сооруди себе псевдоним, например, М. Ахромеев. И на свою фамилию похоже, и звучно, патриотично этак! А вообще говоря, старайся отбрезиваться от этих национальных проблем. Пусть Генка Смирнов изгаляется, он уже насобачился. Пошли по домам!

◆— Кстати, — ни к селу ни к городу поинтересовался как-то в начале беседы на подоконнике Сэмыч, — а что, наш родной журфак действительно пострадал весной, в марте, ну-у, когда нашего дорогого президента переизбирали всенародно, а под вечер Манеж запылял; пресса не раз упоминала, что пламя и вотчину Ясена Засурского лизало. Ты-то где четырнадцатого марта пребывал?

— Дома пребывал. А на журфаке кой-где стекла полопались со стороны Моховой. А что это вас заинтересовало? Кроме естественного компатриотства...

— Да так. Что-то в голову пришло. «Шумел, гудел пожар московский...». Кстати, о теме исторической сегодня поговорим. Вас-то какой истории на журфаке учили? О школьной не спрашиваю, учебники младшего внука для самообразования почитываю: бред сумасшедшего, учебники кто ни попадя пишет. О Сталинградской битве треть страницы, а главные сражения Второй мировой, оказывается, в Северной Африке и на Гвадалканале происходили — стычки дивизионного масштаба. И так далее. А у вас?

— В демократической ретроспективе с позывами к объективности.

— Ха-ха-ха! Молодец, Мишаня, становишься объективным журналистом с позывом к здоровому цинизму. Хвалю! Кстати, все же память на седьмом десятке хочешь-не-хочешь, а слегка уже начинает зашкаливать. А тут вот к слову пожар московский, сразу пушкинские бакенбарды зримо всплыли. И тут вспомнил: когда беседовали о национальном, так сказать, вопросе, то забыл про один пикантный момент. Обратил, наверное, внимание: когда по телеку или по радио центральному говорят о людях искусства, вообще известных в истории России людях, то четко выдерживают название: русский или российский. Если Пушкин, то *знаменитый российский* поэт, а вот Ося Бродский, кстати, мой любимый поэт, так обязательно *великий русский* стихотворец.

— Ну да, ведь Бродский нобелевский лауреат, а Александр Сергеевич даже премии ЖЭК'а номер восемнадцать города-героя Санкт-Петербурга не имел...

— Ха-ха-ха! Остроумец ты наш. Но — намотай на ус. Значит, так надо. Однако, вернемся к истории; отрасль знания, так сказать, наиболее политически конъюнктурная, проститутка точнее. Главное, вали все на Сталина, батьку усатого. Вот тебе в лоб, на каком-нибудь склочном сборище перед выборами, некий замшелый коммуна-

ка говорит: «Сталин страну спас от американской ядерной бомбардировки, заставил свою бомбу сделать!». А ты что в ответ?

— По стандартной схеме: идею бомбы не Курчатов с сотоварищами изобрел, а супруги Розенберги у штатников украли и передали Советам.

— Молодец. Более того, здесь даже Берия следует больше спасителем отечества представлять, а Сталин, дескать, малограмотный и про атомную бомбу долго не мог понять. Еле-еле Лаврентий Палыч уговорил тирана...

— Денис Самойлович! А вы знаете новый анекдот: кто убил Пушкина?

— Знаю, знаю. Сталин убил из-за засады. Только анекдоту этому лет уже под тридцать... Впрочем, нашим потенциальным читателям, быдлу торговому и быдлу интеллигентному, так сказать, вся эта история до лампочки.

— То нельзя, то до лампочки, так о чем же писать?

— А хрен его знает. Слушай, Мишаня, у меня сегодня хандра, плюнем на историю и на нашу кормилицу «Юльку». Пойдем в нашу кафешку, хлопнем по рюмахе!

◆ Однако вместо рюмки сам-двое на сей раз учитель с учеником запотели в «Хантах-мансях» целиковую бутылку вполне съедобного коньяка — изделия подмосковных умельцев. Того хандра Сэмыча требовала. Кстати, стекляшку эту недавно привели в кой-какой порядок, появились официантки, публика стала собираться почище, косящая под «средний класс».

После второй рюмки Сэмыч проговорился о причинах хандры:

— Лето на закате, природа отдыхает, а людям все покоя нет. Сегодня с утра на пятничном междусобойчике шеф взбеленился: дескать, без отпуска уже три года горю на работе, на рекламу по радио и телевидению, мол, «ЮЛ» — самая читаемая газета в области, бешеные деньги трачу, а вы все поуспокоились, по накатанному катитесь...

Правда, чуть попозже Сергей наш Анатолевич отошел и пояснил: тираж «Толковища» в гору прет, а у нас только растет нераспроданный возврат из «оранжевых киосков». А ведь через три месяца выборы в облдуму, а там и за губернаторское кресло битва начнется. Те и другие выборы архискандальными грозятся получиться, коммуняки к последнему и решительному готовятся. От конкурентов их денежные мешки бабок на макулатуру поспытятся... А у нас тираж не распродается. На чем зарабатывать будете, господа газетчики!

Долго мурзил нас, велел по всем отделам сверстать планы жареных публикаций по месяцам. Словом, догнать и перегнать перед выборами «Толковище»!

Ты вот, Мишаня, сей минут навскидку дай такую тему на следующую неделю — не слабо?

— Ну-у, отчего же, Давид Самойлович. Вот чем мы сейчас с вами этот, так сказать, полуконьячок закусываем?

— Как чем? Ассорти колбасное, салатик из моченой кукурузы, что в банках продают, с покрошенными крабовыми палочками. А что? На антрекоты-бифштексы мы с тобой еще не заработали. Они ведь по сотне за порцию идут!

— Бифштексы мы с вами по домам покушаем, на мороженое-то мясо, наверное, заработали. Просто, глядя на это ассорти и моченый, как вы остроумно выразились, салатик, я припомнил читанную недавно статью из газеты наших идейных противников — местной «Правды». Причем статья никого иного, как батьки Кондрата...

— Чего это ты антисемитов начал почитать?

— Его наклонности всем известны; самое существенное, что Кондрат их и меня не думает: и губернатором будучи, и сейчас так называемым сенатором. Хоть и враг, но достоин если не уважения, то понимания. Но я не о том. Сейчас нам надо перехватывать жареную тематику и у коммуняк...

— Очумел, Мишаня! Сделать «Юльку» антисемитским органом? Действительно, паленый коньячишка по мозгам бьет.

— Не смешно, шеф. Я о другом. В статье этой он пишет, как вместе с делегацией этих самых сенаторов из аграриев побывал в Италии, в частности, на молочном комбинате под Неаполем. Оказалось, что на этот гигантский комбинат молоко вообще не поступает, а все эти чудо-йогурты, «растишки» там всякие и прочую чушь, что у нас с утра до полуночи по телеку рекламируют, делают чисто химически из порошков, эмульгаторов, ароматизаторов, стабилизаторов и других реактивов. Поставляют исключительно неграм в Африку и в Россию; сами они видели несколько рефрижераторов из Питера и других городов. А макаронники, нимало не смущаясь, рассказали, что доходы от этой пищевой химии идут на поддержание отечественного сельского хозяйства, что нормальную жратву уже для них самих выращивают.

— Но при чем здесь наша закуска? Это ведь не чудо-творожок из колбы или реторты?

— Как сказать. Колбаса эта ассортиевая, судя по вкусу и вязкости, из геноперерожденной сои с теми же консервантами и ароматизаторами. Кукуруза в салате — тоже генномодифицированный продукт. А «крабовые палочки», сами понимаете, и рядом с крабами не лежали, а так, пресервированные отходы рыбопереработки из Китая, краситель и вкусовые добавки. То есть все та же продуктовая химия. Левые это называют хорошо спланированным продуктовым геноцидом русского народа... то есть российского народа.

— Так-так-так, помаленьку врубаюсь. Давай еще по стопке, а потом ты продолжишь.

◆— Мишаня, но ведь если это делается санкционированно, а так оно и есть, неважно кем, мы люди маленькие, так зачем нам залупаться? Мы ведь не «красная» газета, а вроде как наоборот.

— Вот и я о том, Давид Самуилович. Как говорится, без меня меня женили, значит это кому-то нужно. Впрочем, понятно кому. Но тема-то животрепещущая, конфетка для левых. Наша задача — перехватить и подать в нужном ракурсе, то есть свести правду к минимуму реальной информации, а остальное обратить против нашего противника.

— Ну, брат Мишаня, растешь не по дням, а по часам. Скоро тебя и в самостоятельное плавание можно пускать. Конкретизируй.

— Вот я и говорю. Начнем с названия. Как вы говорите: половина содержания статьи должна заключаться в названии. Предлагаю фольклор: «Как потопашь, так и полопашь!». А в качестве анонса реплика: «Кто помним хрущевские очереди за буханкой ржаного, тот счастлив от изобилия сегодняшнего продуктового рынка: К вопросу о пресловутых происках Запада в продуктовом геноциде».

Далее такой планчик накидаем. Бульварная пресса — с неявным намеком на «Толковище» — и желто-коричневые листки — это про областную «Правду» — уже который год, нет... лучше — второе десятилетие и с удивительной периодичностью, до и после очередных выборов, запугивают мирное население низким качеством импортных продуктов питания, договариваясь в пылу ура-патриотизма и ксенофобии до того, что наши западные друзья поставляют в Россию специально отравленные психотропными добавками колбасу, окорочка — «ножки Буша» и йогурты-творожки, к тому же изготовленные на заводах химических удобрений... Понятна и цель: поскорее свести в могилу 100 миллионов доверчивых россиян, а оставшихся вполне хватит для нефтегазопромыслов, алюминиевых и никелевых заводов и для обслуживания...

— Стоп! Ишь распелся! Ты что? — Для «Совраски» или «Завтра» прохановского пишешь?

— Понял, шеф. Это я так, для себя. Конечно, для чего травят — пояснять не следует. Итак, пишут злонамеренно, не задумываясь о предыстории вопроса, как говорят в аналитических программах-шоу телевидения. А вот читатели постарше нашей молодежи помнят колбасные очереди и присказку про электричку из нашего города в столицу: «Длинная, зеленая, пахнет колбасой»...

— Стоп опять, Мишаня. Про «постарше нашей молодежи» это ты хорошо сказал, почти афоризм. Однако нет у тебя еще пафоса надыбанного, ненависти к славному советскому прошлому. Ты Геббельса не читал? А напрасно. Сейчас издают. Он, хотя и сволочь нацистская, но всем нам учитель на века.

Так вот, начинать обличать следует не с московских электричек, а с России царской. А по Геббельсу следует: пропагандист должен мыслить, говорить и писать предельно зло. А злость в высказываниях — это прежде всего злость на самого себя за вольное или невольное раздвоение личности. По-русски это определяется как кривить душой. Поэтому, охаявая советскую власть, ты сам для себя должен знать всю правду. Только зная правду, можно ее перевернуть на сто восемьдесят градусов, а отсюда и наша несвятая злость, но во благо той идеи, который мы с тобой, Мишаня, и еще миллионов пятнадцать россиян, кормимся. Даже вот на выпивку пока хватает.

— Это все понятно, Денис Самойлович, но зачем царей-то трогать? Вроде как они сейчас в официальном фаворе.

— А вот послушай, если вас истории на журфаке спустя рукава учили.

◆— Наверное, не забыл еще фильм именитого нашего кинодеятеля, увлекшегося политикой на заре демократизации, про ту «Россию, которую мы потеряли»? Понял, к чему говорю? А какой-то чудак чуть ли не с академическим званием по экономике сказал, как припечатал: дескать, царская Россия всю Европу хлебом кормила! И вот этот бред воспаленной головы уже почти двадцать лет подневольные люди, как мы с тобой, без конца повторяют, дуря головы нашим бедным соотечественникам, совсем потерявшим разум... кстати говоря, жалеть их нечего: из-за жадности потеряли, когда им для приманки кость частнособственности кинули.

А истина такова — в совпартшколе нас хорошо истории царизма учили,— что в девятнадцатом и начале двадцатого веков, до первой мировой, понятно, Россия продавала зерно не от его изобилия, а от отсутствия чего-либо другого для продажи. И это при урожае сам-три, как и во времена Ивана Грозного. А промышленность царской России во всем уступала Западу. Вот и приходилось, дабы что-то покупать у Европы минимально необходимого, гнать по пятнадцати миллионов тонн зерна ежегодно, обрекая почти все население страны на полуголодное существование. Сам ты, понятно, не читал, но на лекциях-то по русской литературе говорили о Толстом, других писателях и деятелях, что организовывали разные там комитеты по помощи голодающим крестьянам и прочий помещичий либерализм. Так вот, голодали и вымирали целые губернии, края, а в это время купцы и дворяне гнали бесчисленные эшелоны с зерном в сторону западной границы. «России, которую мы потеряли...». Кстати говоря, этим хлебом не всю Европу, а максимум одну среднюю страну можно было прокормить.

А когда грянула «ерманская», наложившись на недород засушный, то царю и Думе пришлось ввести... продразверстку. Да-да, не большевики ее изобрели, но правительство царское. А Временное правительство уже подготовило указ о введении продразверстки по всей России и подчистую, да грянула Великая и одновременно Октябрьская. Даже большевики, поставленные в жесточайшие условия, и то установили разверстку раз в пять меньше по сравнению с планировавшейся Керенским и К°.

А теперь начни все с начала и изложи конспективно — под последнюю стопку.

◆ — Преамбулу оставим прежнюю. Не возражайте, Денис Самойлович? Тогда в следующем ракурсе. Царская Россия безо всяких тракторов, колхозов и комбайнов, исключительно своим трудолюбием, особенно так называемых кулаков, досыта кормила себя и в придачу всю Европу. Даже во время Первой мировой войны в стране не вводились карточки и обязательные хлебопоставки.

Все изменилось после Октябрьского переворота. Далее по накатанной схеме: продразверстка с расстрелами, светлое пятно НЭПа, далее раскулачивание, голод в Поволжье, колхозное насилие и так до самой войны. Особо — искусственно созданный голод на Украине. И красной строкой: во всем вина Сталина. Даже после его смерти, даже сейчас и в обозримом будущем.

Словом, от революции до войны народ погибал от голода, а сама система сельхозпроизводства была напрочь разрушена, тем самым еще в 20—40-е годы предрешив продовольственную недостаточность страны на веки веков.

Передохнула страна только в войну: американцы завалили тушенкой и шоколадом, причем бескорыстно. Читателям вовсе не интересно, что за «второй фронт» СССР платил золотом. Далее опять же набившее оскомину: волонтаризм, брежневский застой, бесполезное вбухивание в село десятков и сотен миллиардов и так далее. Да, про Хрущева лично — умолчать. Так сейчас принято; все же первые ростки либерализма при его содействии проклюнулись. Опять же и сын его сейчас на ПМЖ* в Америке.

И вот пришла демократия, колхозы развалились, фермерам старые номенклатурщики, засевшие в госдуме, не дали развернуться в 90-е годы, хорошо Америка с «ножками Буша» и европейскими йогуртами-растишками на помощь пришла и завалила рынок России высококачественными продуктами. Понятно, на Западе привыкли покупать все, продукты в том числе, по достатку: хочешь парное мясо — плати, нет этого самого достатка — ешь замороженное из натовских складов. Вот и у нас теперь так стало. Главное — полная свобода: что хочешь, то и ешь. Если деньги, конечно, имеются. Но это пустяки, образуется.

Таким образом, два мотива, проходящие красной, тьфу-тьфу, голубой, конечно, нитью через весь очерк: тяжелое наследие сталинщины и качество импортных продуктов. Причем первый мотив по тексту все усиливается, а второй как бы сам собой сходит на нет. Да, еще мимоходом ругнуть нечистоплотных наших фирмачей, которые, в погоне за прибылью, специально по всей Европе закупают просроченные продукты и везут в Россию. Но это тоже временное явление. Как вам?

— Почти хорошо, Мишаня. Еще немного подработай в выходные, в понедельник я просмотрю, а в следующей пятничной «толстушке» и тиснем.

Вот попомни слова старого газетного лиса и акулы одновременно: в тот день, когда твой папа, добрейший и наивный в этой жизни Семен Евгеньевич, прочитав за ужином номер «Юльки» с твоей статьей, вспылит и проклянет тебя, то знай — ты стал настоящим журналюгой, постиг вершины нашего мастерства. За тебя, мой юный друг!

◆ И наступил день «X»; и именно «день ху», как его произносят военные, а не «день икс», как то принято у людей партикулярных. Кстати, еще в юные годы Мишель узнал от своего двоюродного деда, полковника в отставке, происхождение этого военного «дня ху». В тридцатых годах офицеры Красной армии, выпускники всяких скороспелых курсов, еще не знали иностранных языков, а значит и латинского алфавита. Поэтому встречая в военных учебниках, написанных старорежимными полковниками генштаба, перешедшими на службу советской власти, словосочетание «день X», они и читали его по простоте душевной как «день ху». После войны офи-

* Постоянное место жительства (новодемократич.).

церы уже знали латинский алфавит, кое-кто и начатки немецкого языка знал, но тут началась борьба с космополитизмом, поэтому всякие иностранные слова, в том числе и несчастливый «икс», в армии и учреждениях понимания начальства не встречали. А поскольку этот самый «день X» на маневрах и учениях обычно ассоциировался с разборками и нагонями, то офицеры и перекрестили его в «день ху». По понятной народной фене...

Отец Мишеля первый раз заворчал, когда прочитал заметку сына, подписанную псевдонимом. «Что, никак фамилии стыдишься? А стыдиться нечего. У нас в роду никто ее не опозорил, все честно работали приват- и просто доцентами, врачами и адвокатами. Прадед твой и вовсе профессором в Новороссийском университете в Одессе был на кафедре самого Мечникова... Тем более, что не тридцать седьмой год на дворе!».

Поворчал и неодобрительно успокоился. Регулярно, с профессиональной методичностью читая публикации сына в «Юльке», иногда похваливал, не раз хмурился, чаще рассеянно молчал. Иногда заводил разговор-монолог о перспективах преподавательской карьеры сына на недавно открытом в их университете, бывшем техническом вузе, факультете истории и литературы. Мишель отмалчивался, понимая бесполезность возражений. Старорежимный и влюбленный в свою науку Семен Евгеньевич никак не мог понять, что в наше время наблюдается не классическое тургеневское, то есть временное, биологически обусловленное, непонимание отцов и детей, а нечто новое и пугающее: пресекалась преемственность поколений, один мир рухнул, а новый строится на пустом месте, где клубками змей невероятно сплелись отбросы псевдокультуры и квазинравственности западной цивилизации и пещерное мурло дикаря-людоеда. В наше время часа волка милейший Иван Сергеевич со своим Базаровым отдыхают. Кстати, как выпускник журфака МГУ, где многое знают, Мишель ведал нечто о великом русском писателе: тот был глубоким патриотом, полковником жандармерии по линии внешней разведки и резидентом во Франции и прилегающих стран.

Наивный Семен Евгеньевич! А вот мама Надежда Филипповна хорошо все понимала, предчувствовала материнским сердцем скорую карьеру, а на своего супруга смотрела жалостливыми добрыми глазами.

♦Итак, день «ху» наступил в один позднеосенний пятничный вечер. Мишель вернулся с очередной беседы с Сэмычем, поспел к позднему ужину. А после жареной курицы и легкого салата — Надежда Филипповна была кулинаром от бога — глава семьи развернул «толстушку» завершающей неделю «Юльки», что принес сын.

Просматривал он газету в своем крохотном кабинетике. Надежда Филипповна, помыв посуду, смотрела по телевизору бесконечный сериал про ментов, а Мишель в своей комнате перебирал заготовки к серьезной статье, анализирующей итоги только что прошедших выборов в облдуму, от исхода которых многое зависело в политическом истеблишменте губернии. Однако в голову ничего путного не шло. Втайне Мишель слегка трусил, тревожно прислушиваясь. Ждал шагов отца.

Дело в том, что в сегодняшнем номере Мишель впервые в своей недолгой газетной практике коснулся злободневной ныне темы высшей школы. Не так давно Сэмыч всячески рекомендовал этой теме избегать:

— Понимаешь, Мишель, вузы сейчас помойка; преподаватели от безденежья во взятках погрязли, студенты — в основном сволочи и идиоты, от армии косят. Ну-у и много еще чего дерьмового. Но не лезь. Сам понимаешь, у кого, как твой отец, там родственники из наших газетчиков работают, опять же дети-племянники учатся. Не следует змеиное гнездо ворошить.

Однако неделю назад сам Денис же Самойлович, вызвав к себе в кабинет Мишеля, огорошил:

— Надо крепкий материал по городским институтам, или как там они сейчас называются, сделать. Намедни шеф на планерке раскричался, дескать, боитесь что ли за своих детей-студентов, молчите о бардаке в вузах! Вон опять профессор на взятке попался и от сердечного по такому случаю приступа скончался. Молчите!? А вот «Толковище» даже анонимки студентов-двоечников тискают.

Словом, кровь из носа, а к пятнице материал мне на стол! Вот тебе целая папка с анонимками; их, как правило, по ранней весне и поздней осени чуть не мешками в редакцию доставляют. Мне знакомый психиатр, сосед мой по подъезду, разъяснил: в эти времена года у всех психически полунормальных, тихих шизофреников и невротичных дам обострение начинается, вот и самовыражаются кто как может. А склонные к кляузам и борцы за справедливость анонимки пишут...

Иди и работай. Сталина и вообще коммунистов не забудь гневным словом помянуть.

♦ Ох, лучше бы Денису Самойловичу промолчать напоследок, не напоминать про генералиссимуса и большевиков, не забивать Мишелью голову и без того огорченную маловразумительным служебным заданием.

Полдня он читал анонимки, написанные либо нервическими старческими почерками, либо же выведенные руками отчаявшихся двоечников безграмотные обличительные письма без подписи. А если и случались подписи, то типа «*Абиженные студенты третьего курсу*».

С изумлением он встретил имена всех знакомых ему коллег отца, честнейших старорежимных педагогов. Даже библиотекаршу Любовь Тимофеевну, проживавшую в соседнем подъезде их дома и работавшую в институте чуть ли не со времен его основания в тридцатых годах, не забыли упомянуть: деньги за утерянные книги старушка, дескать, берет себе лично...

От души посмеялся Мишель над анонимкой, героем которой оказался его отец. Неведомый автор этого пространного сочинения на листах из школьной тетрадки «в клеточку» подробно описывал, как доцент Афремский еще с советских времен обложил студентов данью за сдачу экзамена по физике металлов, а на взяточные деньги построил трехэтажную виллу в дальнем пригороде, выучил сына, то есть Мишеля, в престижном, понятно платном, московском экономическом институте и купил ему должность в столичной мэрии...

После этого Мишель анонимки читать перестал и сходу написал статью, где, памятуя вводную Сэмыча, всю вину за нынешний беспредел студентов, бесправие нищих преподавателей и общий упадок системы высшего образования свалил на Иосифа Виссарионовича, Крупскую, Луначарского и почему-то на всплывшую в памяти старую ленинскую гвардию. Перечитав содеянное, понял, что получилась развесистая клюква, противно самому стало, но хотелось поскорее отделаться. От чтения анонимок осталось стойкое ощущение липкого и противного. Хотелось вымыться под душем и выпить.

Сэмыч молча прочитал материал, хотел что-то сказать, но скривился и махнул рукой: давай, мол, в набор.

♦ Время, без того тягучее в темный декабрьский вечер, остановилось. Мишель все так же чутко прислушивался, но в его полуотворенную дверь доносились только пьяные голоса ментов из тихо включенного телевизора.

Поняв, что итоги выборов в облдуму его сейчас меньше всего интересуют, Мишель прилег на свой спальный диванчик, раскрыл на заложенной странице том «Истории жизни покойного Джонатана Уайльда Великого» Генри Филдинга. Имел он привычку, внушенную отцом еще со школьных лет, отдыхать со чтением высокой классики. Но

все и вся сговорились сегодня испортить настроение ему. Первая же фраза на раскрытых страницах, попавшаяся на глаза, заставила Мишеля поморщиться:

«В самом деле, всякий, кто знакомится с судьбой, обычной для великих людей, должен признать, что они вполне заслуживают и нелегко стяжают те хвалы, какими их дарит мир; потому что, когда мы подумаем, с какими трудами и муками, с какими хлопотами, тревогами, опасностями сопряжен их путь к величю, мы скажем вслед за проповедником, что попасть в рай человек может, не затратив и половины тех трудов, какими он покупает себе ад».

Мишель отложил досадливую книгу, зевнул. В этот момент в комнату решительно вошел отец. Доброе его лицо выражало сложное чувство, с каким человек встречает известие о том, что лучший друг предал его. У женщин такое выражение лица возникает при известии, что ее лучшей подруге муж подарил на день рождения золотое кольцо с бриллиантом в два карата; смотрит она при этом на своего супруга.

— Я прочел твою, мягко говоря, писанину. Далеко пойдете, молодой человек. Я проклинаю тот день, когда поддержал твое желание учиться на журналиста. Я все сказал!

Аккуратно положив на стол толстую пятничную «Юльку», раскрытую на странице с очерком Мишеля «Кто и чему нас учит», отец молча и так же аккуратно вышел. Так выходят из змеиного вивария, наверное.

Свершилось-таки предсказание старого лиса Сымыча: проклял сына отец!

◆ Через полгода на зональном смотре-конкурсе молодежных газет «Юлька» получила первое место среди аналогичных изданий Центрального округа, а Мишель на том же конкурсе вошел в пятерку лучших молодых журналистов, пишущих на актуальные темы. Еще через год Денис Самойлович ушел на покойное место старшего редактора в частное книжное издательство, лучшее в городе. На свое место Сэмыч рекомендовал Мишеля и был поддержан шеф-редактором газеты.

Отец с Мишелем *примирился*, а он, в свою очередь, *помирился* с отцом. Ведь дети отцов не выбирают, а последние по мягкости характера не решаются пороть ремнем своих отпрысков в воспитательных целях каждую субботу — с первого класса и вплоть до совершеннолетия.



Владимир Резцов
(г. Тула)

ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ



Вечной молодости театра посвящается

*Памяти незабвенной
Зои Васильевны Григорьевой,
Режиссера, Учителя, Друга (2006 г.)*

Я вернулся в народный театр, в котором со студенческих времен провел много лет, и который оставил потому, что так сложилась жизнь. Наш бессменный режиссер, Зоя Сергеевна, сразу же включила меня в работу над репертуаром, и я, как в юности, с жадностью и упоением с головой окунулся в омут чарующей и радостной круговерти бесконечных этюдов, репетиций и прогонов.

К новогодней елке готовили для малышей волшебную сказку, в которой мне была поручена такая вкусная роль блестящего сказочного короля! Зоя Сергеевна так и сказала кому-то из худсовета: «С такой характерной ролью никто не справится лучше Николая Сохина». Изготовлены великолепные декорации, установлено умопомрачительное освещение, сшиты потрясающие костюмы, музыкальное оформление, как всегда, выше любых похвал. В общем, в таком спектакле даже участие в качестве статиста большое счастье, а тут еще не роль, а конфетка!

Генеральный прогон и сдача спектакля художественному совету Дворца культуры прошли на «ура», и первый день Нового года стал днем премьеры.

Низенькая сцена с кулисами и платформами разной величины установлена в просторном фойе с таким расчетом, чтобы актеры могли с нее сходить, свободно перемещаться по всей площадке и подходить вплотную к маленьким зрителям, сидящим со своими родителями в несколько рядов вдоль витража.

Через небольшое отверстие в заднике видны большие, распахнутые в сладком ожидании чуда глазенки детворы — маленьких девочек в нарядных платьицах и годовалого расфранченного мальчуганов. Великолепие декораций до того их ошеломило, что они сразу как-то притихли и даже старались не шуршать подарочными пакетами. Рядом с ними — эффектные, обольстительные молодые мамы, от которых исходит дурманящий запах жасмина. Они тоже сияют от предвкушения встречи с прекрасным!

Возле колонны на стульчике с блокнотом в руке сидит Зоя Сергеевна, готовая по ходу спектакля брать на карандаш наши промахи. На ней строгое праздничное платье с кружевным воротничком. Глаза ее светятся щемящей тревогой, но в то же время и оптимизмом. Еще бы! Работа проделана огромная: актеры, режиссеры, их ассистенты, осветители, художники, костюмеры, постановочная часть и, конечно же, дирекция Дворца, сумевшая профинансировать постановку — буквально все душу вложили в то, чтобы праздник состоялся!

К той же колонне прислонился Евгений Петрович, муж Зои Сергеевны и тоже наш режиссер. На нем новенький костюм-тройка; пышная седая грива уложена безукоризненно. Он нетерпеливо теребит свою тщательно расчесанную бороду, поблескивает стеклами роговых очков и то и дело бросает взгляды на жену. А та уже давно, не мигая, смотрит на сцену.

У другой колонны с нарочито кислыми лицами примостились на банкетке трое маститых критиков, которых я, впрочем, вижу впервые. Всем своим видом они как бы дают понять окружающим, что на своем театральном веку повидали и не таковское, так что их ничем не удивишь.

Но вот загремели фанфары жизнерадостной увертюры, и осветители дружно заработали разноцветными прожекторами, щедро поливая сцену и декорации сочными красками подобно талантливым живописцам. Мой выход! Именно мое появление на сцене открывает действие!

— Ни пуха, ни пера! — шепчет Коля Еременко, поправляя на голове цилиндр.

— К черту! — машинально отвечаю я и, взяв характерность, с лучезарной улыбкой стремительно лечу «туда, где море огней», — на сцену! К зрителям!

На мне роскошный желтый камзол с большим кружевным воротником и алой перевязью, белые чулки с подвязками и начищенные башмаки, на голове коричневый парик в стиле Людовика Четырнадцатого и золоченая корона. Мои движения изящны и величественны, но вместе с тем энергичны и непринужденны. Я милостиво несу себя публике, как подарок!

Малыши дружно ахают и зачарованно смотрят во все глаза на «блестящего дядю» — с раскрытыми ртами, с затаенным до поры до времени восторгом. Но когда я эффектно останавливаюсь в трех шагах от первого ряда и делаю сдержанный, истинно королевский комплимент, самая маленькая и самая курносая девчушка, не в силах больше скрывать свои чувства, радостно взвизгивает и принимается неистово бить в ладошки. За ней, как по команде, начинают аплодировать остальные дети. К ним присоединяются их очаровательные мамы, которые вообще смотрят на меня, как на живое божество. И вот уже рукоплещет вся аудитория, и даже критики бросили изображать из себя зануд и кричат «браво!»

Зоя Сергеевна прячет довольную улыбку, а верный себе Евгений Петрович улыбается во весь рот, не таясь, и в возбуждении потирает руки. Оvation не смолкает. Ничего себе начало! Я еще только появился, я еще ничего толком не успел сделать, а меня уже все любят, меня обожают! Значит, и спектакль пройдет отлично, — остальные актеры не хуже меня. У нас прекрасный театр, замечательная команда! Мое сердце переполняется радостью. Кажется, я поймал кураж!

Понемногу буря восторгов утихает, но внимание зрителей по-прежнему приковано к блестящему королю. Все глядят на него с радостной надеждой: что же будет дальше? Милая ребятня и вы, красивые мамы! Дальше все будет только здорово: вас ожидает чудо — прекрасная и добрая сказка...

Пошла новая музыкальная тема, и радость, доселе меня переполнявшая, почему-то мало-помалу пошла на убыль. Со смутным беспокойством начинаю чувствовать, что что-то не так. Но что? Ведь несколькими мгновениями раньше все было так хорошо... И вдруг леденящий ужас опалил мою душу и сковал тело: *я забыл слова!*.. Никогда прежде со мной такого не случалось. Всегда имел отличную память и на зависть другим легко выучивал роли с большим количеством текста — и стихотворного, и прозаического. Композицию по «Илиаде» Гомера вообще читаю без остановки минут сорок. А тут на тебе, забыл! Это же всего-навсего детская сказка, а не Шекспир и не Достоевский... Какой позор... Конечно, когда тебе сорок шесть, это немного не то, что когда тебе двадцать один. Давно надо было для профилактики принимать танакан...

Пауза затягивается. Зоя Сергеевна недоуменно округляет глаза, а Евгений Петрович вращательными движениями руки подает знаки: давай, дескать, текст! Какое там — текст! Оказывается, бывают вещи пострашнее забытого текста. Пришла беда — отворяй ворота: *я совершенно не помню о чем пьеса!!!* Память отшибло напроочь! Покрываюсь холодной испариной; по коже, как тараканы, пробегают мурашки. Стараясь не подавать виду, лихорадочно соображаю: что же делать? Как на грех, по пьесе в первой картине никого, кроме меня, быть не должно, так что спасать некому. Режиссеры находятся среди зрителей и тоже помочь не могут. Да и как подать им сигнал бедствия? Торчу в трех шагах от первого ряда — в эффектной позе, с застывшей улыбкой, которая чем дальше, тем глупее, и с памятью новорожденного. Вот если бы отступить к заднику и шепнуть притаившемуся за ним Еремеенко: мол, тезка, выручай!.. Но такое отступление еще как-то надо сценически оправдать: ведь зачем-то я же приперся к самому первому ряду!

Продолжая мило улыбаться не сводящим с меня восторженных глаз детишкам, начинаю степенно расхаживать и несую какую-то околесицу, как бы о чем-то рассуждая сам с собой. Угловым зрением замечаю, как, не веря своим ушам, Зоя Сергеевна пораженно заглядывает в режиссерский экземпляр пьесы, и как вытягивается лицо Евгения Петровича. Положение — врагу не пожелаешь: как ни дернись, что ни скажи — будет только хуже, а стоять и молчать нельзя! Летят к черту многомесячные усилия всего театра, труды многих людей, ждавших этого дня, как праздника. И все из-за меня... От стыда готов провалиться сквозь паркет, но веду себя так, как будто все идет по штатному расписанию. Без боя не сдамся, мы еще покувыркаемся!

Спасительная мысль — позвать слуг! Какая-никакая, а все-таки зацепка,— это же благовидный предлог, чтобы вернуться к заднику! Уж теперь-то кто-нибудь из актеров, играющих слуг, наверняка что-нибудь да подскажет! Да мне и надо-то всего словечко,— глядишь, туман в башке и рассеется. А не рассеется, так хоть как-то сумею сориентироваться. Главное — нащупать удобный момент, чтобы слинять за кулисы и уступить площадку товарищам, а уж там будет достаточно времени, чтобы взять у кого-нибудь экземпляр пьесы и, не спеша, его пролистать. Слава богу, роль короля не главная, и он вновь появляется на сцене лишь в финале. (Спасибо, что хоть это еще помню!) Но как объяснить публике зачем мне слуги? Да ну, надо быть проще!

Сообщаю маленьким зрителям, что мне надо дать кое-какие указания слугам, кокетливо намекнув благоухающим красавицам-мамам, что сегодня какой-то там особенный день.

«Это какой же? — пронеслось в мозгу. — Мужья их, что ли, все до единого в море ушли на полгода?» Эта шаловливая мысль меня рассмешила, и моя веселость немедленно передалась ничего не подозревающему зрительному залу. Ободренный смехом и аплодисментами, я уверенно направляюсь пружинистой походкой к заднику, стараясь не смотреть на режиссеров. Однако становится не по себе, когда мельком замечаю бледного, как полотно, Евгения Петровича и потемневшую от гнева Зою Сергеевну, которая исподтишка показывает мне кулак.

— Эй, слуги! — взываю я хорошо поставленным сценическим голосом и для большей убедительности трижды хлопаю в ладоши. Но никто не пришел! Только за задником слышится сдавленный возглас Еремеенко:

— *Атас!..*

Что значит «*атас*»?!

— Эй, слуги! — не унимаюсь я и снова делаю три хлопка.— Куда вы запропасились? Король зовет, а этих нет, как нет!

Это я что-то из Шекспира загнул. Хорошо еще, что хоть к месту...

— Ты что, с ума сошел? — доносится до меня еле слышный шепот Еремеенко.— Какие еще слуги?!

Оказывается, слуги автором пьесы не предусмотрены. А кто ж тогда предусмотрен?! Что за драматурги пошли? Где же логика? Ведь если есть король, то должен же он кем-то повелевать!

«Облом!» — отчетливо вспыхивает в моем сознании. И тут же зал взрывается гомерическим хохотом и рукоплесканиями, — потому что подумал я, оказывается, вслух...

На режиссеров страшно смотреть. Зоя Сергеевна окаменело сидит, вся сторбленная, упершись локтями в колени и обхватив голову руками. Евгений Петрович так прижался спиной к колонне, как будто хотел стать с ней единым целым. И это ему удалось: цвет его лица и кистей рук совершенно слился с матовой белизной колонны, и казалось, что к ней каким-то странным образом прикрепили роскошный костюм-тройку. Что же я за изверг за такой...

Однако критики — ничего: смеются, хлопают и веселятся, как дети, вместе с залом. Выходит, *о моем позоре, кроме наших, не знает никто!* Отлично! Очко в нашу пользу! Это придает мне уверенности, и я снова принимаюсь гнуть свою линию, конечная цель которой — любой ценой подготовить почву для логичного ухода за кулисы.

Я мечу громы и молнии по поводу низкой трудовой дисциплины слуг, которые совсем отбились от рук, служат спустя рукава и только и знают, что ведут разгульный образ жизни. При этом в порыве благородного негодования, сгоряча, зачем-то вворачиваю, что, мол, не так уж и неправ был Горбачев, когда в прежние годы вел бескомпромиссную борьбу против пьянства и алкоголизма.

Ослепительные мамы и веселые критики просто визжат от смеха. Не отстают от них и детишки, которые хоть и мало что поняли, а кто такой Горбачев вообще не могут знать по малолетству, но хохочут до посинения, и некоторые уже описались.

Вот он, долгожданный момент! Сейчас я, наконец-то, уберусь со сцены!

— Совсем распустились! Вот я им задам! — С этими громоподобными возгласами я спешу к проходу за кулисы в сладостном предвкушении тайм-аута...

Но тут в проходе очень некстати появляются две девочки и один мальчик в причудливых сценических костюмах и становятся таким образом, что мимо них мне никак не пройти. Ну не могу же я их толкать, я ведь добрый король! Ясно, что они участвуют в спектакле и, кажется, пришли к королю.

— А вы еще кто такие? — озадаченно спрашиваю я.

— Я — *Земляничка*, — сонно отвечает девочка в красном костюмчике и такой же шапочке, вяло взмахивая над головой зеленой веточкой.

— Я — *Ор-р-рэшничек!* — очумело картавит вторая, в зеленом костюмчике и бурой шапочке и к радости детворы рассекает воздух здоровенной хворостиной. Мда... Если бы не остатки моей былой реакции, общая численность одноглазых королей могла бы несколько возрасти.

— Я — *Ежик* — *без головы, без ножек*, — запинаясь, выдавливает из себя мальчик в сером костюмчике и серой шапочке с наклеенными картонными иголками.

— Обалдеть! — ошалело апеллирую я к рыдающей от хохота публике, а сам про себя думаю: что же мне с этими тремя делать-то? Сразу видно — на сцене в первый раз: зажаты, стеклянные глаза, дикция подгуляла, дергаются, мордой хлопочут. От этих помощи не жди, — им свои бы слова дай бог вспомнить и вовремя вставить... А вот только куда, если я им ни одной правильной реплики дать не могу?

Замечаю на сцене круглый стол и приглашаю неожиданных гостей (будь они неладны!) проходить, садиться и чувствовать себя, как дома. Так они и сделали, но тут я пожалел, что не посоветовал им помнить, что они в гостях. Стульев-то всего три штуки; они на них расселись, а мне, монарху, пришлось при этом стоять! Чему их только родители учат? Ведь никому и в голову не придет уступить старшему место!

Самому шугануть вроде как неудобно... Но обидно до невозможности! Опустили короля до «шестерки» и сидят себе, хлопают глазами да на меня пялятся, невежи эти-кие! Вижу — чуть дальше, на тумбе возле задника, что-то вроде полотенца. Я его со злостью хватаю, перекидываю через левую руку и, угодливо изогнувшись, язвительно так спрашиваю у юных бесстыдников: «Что прикажете, господа? Не желаете ли кофею?» Сидят, как истуканы! За задником Еремеенко рассуждает на тему «Имеет ли Сохин крышу, а если имеет, то куда она поехала». Туда, где находятся режиссеры, не гляжу с принципиальностью нашкодившего кота. И тут до меня доносится звонкий залиvistый смех той маленькой курносой девчушки:

— Ой, мама! Смотри: король, а делает, как тот дядя в ресторане!

И новый взрыв хохота и аплодисментов...

Спасибо тебе, не по годам смышленная малышка! Твою бы головку да этим трем отсиженным ногам: ведь сидят, как аршин проглотили!..

Понимая, что метать перед ними бисер все равно, что угощать пивом памятник, кладу полотенце на стол и уже серьезно спрашиваю, с чем они пожаловали. И тут началось! Наверное, из-за того, что не было точной реплики, они после довольно неуклюжей паузы заговорили все разом, наперебой. И ведь понимают, что что-то не то, а все равно тупо тарашатся друг на друга и монотонно, как обкуренные, шпарят каждый свой текст. Мне даже нехорошо сделалось, оттого что, как ни напрягался, так и не смог разобрать, что они мне грузили. А они, как заведенные, все что-то там лопочут и лопочут.

— Дурдом! — заметил я укатывающейся публике, кивнув в сторону бестолковой тройцы. Махнул рукой и неторопливо двинулся поближе к первому ряду, чтобы по дороге обмозговать дальнейшие действия.

Приближаюсь это я к зрителям, погруженный в раздумья, и вдруг чувствую, что мне почему-то расхотелось прятаться за кулисы. А и в самом деле, что я там забыл? Экземпляр пьесы? Так ведь хуже уже не будет, огрести за свои художества я всегда успею. А здесь, на площадке, мне пока *очень даже неплохо*: зрители меня обожают, что ни отмочу встречают на «ура», регочут, как больные, рта не закрывают... Ишь, как их разобрало... Просто дурниной орут. Все стонут и задыхаются, как астматики... То в одном, то в другом месте раздается подозрительный треск. Наряды у них, что ли, едут по швам? И как-то становится... душновато...

Вон справа, в первом ряду, черненький мальчуган свалился со стула и, рассыпав из кулька конфеты, хохочет на полу...

А мама у черненького хороша: в теле, но не толстая; упругая такая, как хорошо накачанный мячик; личико с броскими такими чертами (наверное, украинка), и мини ей так идет, что дух захватывает... Куда это меня несет?.. С трудом отрываю глаза от края дорогой черной кожаной юбки, перевожу взгляд выше, невольно задерживаюсь на идеальном бюсте, содрогающемся с частотой станкового пулемета, и меня как током ударило: *а ведь у короля по идее должна быть королева!* Конечно, нынешние авторы непредсказуемы: вон без слуг оставили, а могут запросто и жену увести... Но все же шансы есть, — пятьдесят на пятьдесят. Даже больше, — скажем, шестьдесят на сорок: один раз не угадал, второй по теории вероятности должно повезти...

— Однако как давно я не видел ее величество королеву! — погнал я пургу. — Вот кто поможет нам разобраться со всей этой фигней. Кто, как не она, с ее чутким женским сердцем, тактом и добротой сумеет проникнуть в самую суть вещей и понять, что там буровят эти чокнутые? Право же, в таких вопросах я без нее, как без рук.

— Ах, что за прелесть эта ее величество королева, моя милая женушка! — продолжал я. — Подумать только, мы женаты целых два дня, а я по-прежнему влюблен в нее так, как будто мы обвенчались лишь вчера!..

Вот это сморозил... В зале истерика...

— Полный *водец!* — стонет за задником Еремеенко, и от этого душа уходит в пятки: неужели опять мимо?!

— Ваше величество, супруга наша, где вы? Соболаговолите выйти к нам! — возопил я с отчаянием, готовясь к худшему.

Слышу — за кулисами переполох: что-то там засуетились, забегали, чем-то даже громыхнули... И в проходе — ну слава богу! — возникает королева. Да еще какая! Я прямо глазам своим не поверил — Алевтина Акимовна Янковская собственной персоной в роскошном королевском платье с жабо! Потрясающе! Наверное, срочный ввод. По крайней мере, не помню, чтобы я с ней репетировал... Приятный, очень приятный сюрприз! Давненько мы с ней не виделись, а вместе в одном спектакле играли вообще лет двадцать назад. Она и тогда-то мне в матери годилась, а сейчас... А сейчас выглядит просто изумительно! Нет, в какой она великолепной форме! Безукоризненная фигура, лицо здоровой тридцатилетней женщины, со вкусом и чувством меры наложенный макияж. Учитесь, молодые красавицы, как должно женщине за собою следить!

— Ну, наконец-то, ваше величество! — Я так обрадовался Алевтине Акимовне, что не ограничился церемонным рукоцелованием, а к восторгу молодых мам организовал долгий голливудский поцелуй. — Вы не можете себе представить, как я по вас соскучился, *мон анж!* *Ву компрене, ком же ву зем, — сэ трэ импосибль!*

И по системе Станиславского с еле скрываемой страстью я снова прикладываюсь к руке Алевтины Акимовны.

Вообще-то монарх у меня получается весьма своеобразный. Его королевская изысканность парадоксальным образом уживается с развязностью разудалого не то ковбоя, не то нового русского и похотливостью ходока. Кстати, что это меня понесло на французский язык, в котором я разбираюсь, как свинья в апельсинах?

— Однако, сударыня,— продолжаю я гнуть свое,— у меня к вам большая просьба. Видите вон тех чудиков за столом? — Я показал на своих гостей, которые даже при появлении королевы не догадались хотя бы встать.— Так вот эти ненормальные являются ко мне и гонят такую метель, что сам черт без бутылки не разберется. Сделайте одолжение, мадам, объясните мне, что тут происходит, и о чем, собственно говоря, базар?

Вижу — королева в некотором замешательстве, но постепенно овладевает собой. Чтобы оправдать вновь зависшую паузу, она интеллигентно и не без грации отводит меня в сторону и говорит не совсем в тему:

— Ваше величество! Я пришла, чтобы серьезно поговорить с вами по очень важному делу.

«Вот как! — думаю себе. — У нее свои дела! А как же быть с моими? И что делать с теми тремя? Зачем они вообще здесь ошиваются? Что это, драматургия такая дурацкая или накладка? И как теперь эту мелюзгу со сцены убирать? Сами-то они ничем не уйдут: сидят себе и, знай, моргают, как совы белым днем.»

Но то, о чем дальше поведала королева, заставило меня забыть о трех недотепах.

— Вы ведь знаете, ваше величество,— продолжала она,— что *наши три дочери уже выросли и им пора замуж...*

Я чуть не упал! Значит, по пьесе у нас *три дочери?! И они выросли?! Уже?! А* я-то минуту назад брякнул, что женился *позавчера...* Ай, спасибо, женушка, выручила, нечего сказать, со своими скороспелками! Будешь знать, старый дурень, как на женщину надеяться! Что ж мне так на баб-то не везет?..

А вот критикам везет. Им так весело, что они уже не в силах смеяться по-человечески, а только шипят, как гуси. Один из них вообще пошел куда-то — на четвереньках...

Я что-то затараторил насчет того, что, мол, мать моя женщина, кто бы мог подумать, как время быстро летит, просто черт знает что такое; я-то думал, всего два дня прошло, а на самом деле, как один миг, пронеслось столько лет... А ловко это я, однако, вывернулся!

— Ты бы хоть не ругался... — печально вздохнула Алевтина Акимовна и с тоской посмотрела куда-то в сторону.

Меня бросило в жар. Я с ужасом понял, что от растерянности начал пересыпать свою скороговорочку легким матерком...

— Ах, да какая разница, мадам? — воскликнул я с беспечностью обреченного. — Все равно по окончании всей этой заварухи мне трандец!

Тут я ни к селу ни к городу напомнил о горькой участи Людовика Шестнадцатого и сделал заумное обобщение, однако при этом умудрился так органично загрузить, что публика сразу перестала ржать. Наступила звенящая тишина. Потом красивые мамы завсхлипывали, поднося к глазам надушенные платочки, и у меня мелькнула нескромная мыслишка о том, сколь велика и безгранична волшебная сила искусства.

— Не надо так расстраиваться, ваше величество, — мягко сказала королева и заботливо взяла меня под руку. — Все образуется. Пойдемте в сад!

И я, весь такой в расстроенных по системе Станиславского чувствах, понуро кивнул и послушно поплелся туда, куда увлекала меня супруга, — за желанные кулисы.

В этот момент грянула следующая музыкальная тема — радостная, зажигательная, в самых, что ни на есть, современных ритмах. Уже спиной к зрителям я рефлексивно обернулся по направлению к той точке сцены, где сфокусировались разноцветные огни прожекторов. Там появилась главная героиня сказки — белокурая синеглазая девушка, невысокая, но стройная и очень спортивного вида. Уж не знаю, кем она доводится королю, и каково ее социальное происхождение, только одета она в красивый блестящий купальник. И так это она энергично и виртуозно исполняет упражнения на трапеции, что сердце заходится, и глаз не отвести! Черт подери, что за прелесть!.. Вообще-то Зоя Сергеевна любит устраивать на сцене этаким синтез различных искусств, и это одна из ее сильных сторон... А воздушная гимнасточка — до чего же хорошенькая! И где такую раздобыли? Если она еще и играет хорошо, то это просто Гойко Митич в женском обличье! И уж тогда одно из двух: или быть ей великой актрисой, или я на ней женюсь!..

Да куда меня эта женщина все тащит и тащит, тащит и тащит?! Просто безобразия, честное слово! Как моя сцена, так иди, Коля Сохин, и отдувайся за всех, а когда на площадке происходит что-нибудь этакое, завлекательное, так уж и посмотреть нельзя! Свинство какое-то!

— Что, седина в бороду — бес в ребро? — тяжело дышит Алевтина Акимовна и изо всех сил тянет меня за левую руку к проходу за задник. Ей усердно помогают Земляничка и Ежик, — они, как бурлаки, подтаскивают меня за правую руку, а Орешничек подталкивает руками в спину, оперевшись головой чуть ниже. Все они громко сопят, потому что я сопротивляюсь, как могу.

— А Сохатый-то совсем двинулся! — подытожил Еремееenko, когда общими усилиями я оказался за пределами сцены.

Здесь я перестал возмущаться, вспомнив, зачем еще совсем недавно сам хотел сюда попасть.

— Братцы! — говорю. — Дайте скорее экземпляр пьесы! Все на фиг позабыл, горю!

Но обступившие меня плотным кольцом коллеги были в таком шоке, что туго соображали. Одни смотрели на меня со страхом, другие с презрением, третьи с

жалостью, четвертые с возмущением и гневом. И все требовали, чтобы я объяснил, в чем дело.

— Некогда объяснять! — с досадой отмахиваюсь я.— Да и незачем: один черт после спектакля Сергеевна даст мне *воды*... Дайте же пьесу, в самом деле! Будьте людьми,— время дорого!

Дошло, наконец! Хотя на поиски заветной книжечки какое-то время потратить все же пришлось, но через пару минут она была у меня в руках, и я отправился искать подходящее место, чтобы ее пролистать. Это оказалось не так-то просто, поскольку за задником было темновато, да и актеры то и дело сновали туда-сюда, задевая на ходу то плечом, то бедром, то реквизитом. Я было примостился у самого светлого участка задника, но буквы перед глазами плясали из-за того, что осветители запускали серпантин. Иногда становилось совсем темно, потому что так было нужно, иногда музыка играла так громко, что ничего в голову не лезло. А тут еще одна напасть: я смотрел в распечатку пьесы, а перед глазами была юная и прекрасная девушка в блестящем купальнике на трапеции. Интересно, как там она управляется со своей ролью? Не забыла ли, не дай бог, слова, как это некоторые?.. Нет-нет, девушки потом! Сначала со своим текстом хоть как-нибудь разгрестись...

Я опять вспомнил, что во второй раз мне надо появиться перед зрителями только в самом конце спектакля. Открыв последнюю страницу, я сумел разглядеть лишь то, что у короля в финале небольшой монолог, которым сказка и заканчивается. Больше, сколько ни прищуривался, ничего не разобрал: снова пошла затемненная сцена.

Появился разгоряченный Еремеевко, который только что отработал свой выход. Когда он проходил мимо, я схватил его за руку:

— Слушай, что там в последней сцене? Что я говорю и делаю в финале? Прочесть не могу — темно!

Еремеевко холодно и недоверчиво на меня покосился:

— Ты что, в самом деле ничего не помнишь?

— Да в том-то и дело,— говорю,— что все, как корова языком слизала!

Он видит, что я это искренне, и отвечает уже мягче:

— Ну, в финале король соединяет любящие сердца после того, как рыцарь спасает свою невесту от лесных чудищ... Ну!!! Которых на них напустила злая колдунья! Поздравляет и все такое...

Еремеевко покачал на мой счет головой, а потом заторопился на свой следующий выход. И хотя детали моего появления в финальной сцене так и остались за кадром, я был благодарен своему тезке: теперь хоть приблизительно знаю что делать. Прорвемся!

Что-то там подделывает главная героиня? Я прильнул к холсту задника, пытаюсь сквозь него рассмотреть, что происходит на сцене. Ничего почти не видно. Вот если бы проделать хоть малюсенькое отверстие... Только чем? Я снял корону и приспособил для этой цели один из ее зубцов.

— Вы зачем декорации портите? — раздался над ухом чей-то негодующий шепот, и куда-то я этого умника послал. Он не отставал и продолжал разоряться, но я его не слышал, потому что уже смотрел спектакль через дырочку...

А там события развивались стремительно. Я даже позавидовал зрителям: им и после эксцентричной клоунады с королем-склеротиком в главной роли было не до скуки.

Злая мачеха наезжала на мою гимнастку, чтобы та ушла в монастырь. Тогда наследство, оставленное девушке покойным отцом, перешло бы к этой мегере и ее плаксивой ябедо-дочке. Рехнулась старая! Да чтобы такая юная, славная, спортивная девушка, такая ловкая, что за ней парням не угнаться, жизнерадостная, мечтающая о большой любви — да в монахини?! А фасад не треснет?

Сбывается мечта главной героини. Она встречает прекрасного (с ее точки зрения) рыцаря из соседнего королевства, который едет ко мне с дипломатической миссией от своего монарха. Тот, видите ли, хочет трех своих принцев на моих скороспелках женить. Девушка и этот нахал влюбляются друг в друга и договариваются пожениться, когда новоявленный женишок на обратном пути повезет мой ответ своему шефу. Расставание, светлая грусть, надежда на счастье...

А мачеха видит такое дело — бабки-то уплывают! — и задумывает, зараза такая, совсем погубить свою падчерицу! По совету злой колдуньи она посылает бедняжку в дремучий лес. От возмущения я даже не запомнил, за каким лешим. В общем — пойдешь в лес и посмотри, нет ли там меня!

Едет смазливый жених назад, а невесты нет. Мачеха лепит ему горбатого: мол, девка такая-сякая вертихвостка-изменщица его, славного рыцаря, не дождалась, выскочила замуж за проезжего богача и скрылась в неизвестном направлении. Этот молкосос распустил нюни и уши развесил для новой порции спагетти. А мачехе-стервозе того и надо. Она ему кубок вина с зельем подносит — горе подсластить и свою плаксу-ябеду подсовывает, чтобы тот на ней женился. Он ведь какой-то там граф. У старухи губа не дура: и наследство оттяпать, и титул урвать!

Посмотрел я на этого графа... Длинный, уши, как лопухи, а на них лапша, что твои аксельбанты... Эх, правду говорят — любовь зла...

От выпитого парень закосел и спать улегся, а мачеха повела свою ябеду примерять свадебное платье. Тогда из леса приходят Земляничка, Ежик и Орешничек. Орешничек так съездил бухого рыцаря по мягкому месту своей волшебной хворостинкой, что тот истребителем взмыл под потолок и еще некоторое время раздумывал, приземляться ли. Когда все-таки приземлился, Земляничка сняла с него похмельюгу, а Ежик, запинаясь, сообщил, что падчерица заблудилась в густом лесу, и вызвался быть проводником.

Возвращается мачеха и конопатая зануда в подвенечном платье, а графа уже и след простыл: в лес побежал. Плакса — в рев, а мачеха распсиховалась и давай икру метать: полетели вдогонку проклятия и угрозы, мол, вот пожалуюсь своей «крыше», колдунья тебе стрелку-то забудет!

Женишок успел вовремя: девушка была опутана какими-то дьявольскими лианами, а к ней со всех сторон подбирались вурдалаки и прочая сказочная мерзость. Освободил он ее от пут, разогнал противную пакость. Влюбленные обнялись, а я у себя за спиной услышал топот десятка пар ног. Пришло время финала: это пошла на сцену массовка, изображающая лесных чудищ, которых науськала на молодых злая колдунья. Вот первые из них с картонными пнями на головах, растопырив руки-коряги и раскорячившись, вступают в бой с рыцарем. Малыши испуганно завизжали и давай ножонками топтать! Чудища наступают, а маленькие зрители вопят и топают все громче и громче. Молодые сражаются. Девушка творит чудеса: акробатические прыжки, подсечки, мавашки-гэри. Залюбуешься! А вот «доблестный» рыцарь, женишок ее, подкачал. Мечом, как веником, машет, стоит на прямых ногах. И кто его так учил? Срам один. Хорошо еще, что артисты, играющие чудищ, отыгрывают даже то, чего не было, и делают это так здорово, что создается иллюзия, будто суженый главной героини — искусный воин. Глаза бы не смотрели...

— Что же вы не переодеваетесь?! — внезапно налетели на меня две юные актрисы. — Вы что, забыли? *Вы же тоже выходите в массовке!*

И они меня, совершенно опешившего, буквально поволокли к выходу на сцену. Откуда-то возник картонный пенёк, который нужно надевать на голову и плечи.

Я растерялся:

— Девчата, да мне же на финал выходить, у меня там монолог. Когда же я успею?!

Но мне объяснили, что как только рыцарь погонит со сцены плохих, я должен удалиться первым, и тогда у меня хватит времени, чтобы снова принять облик короля и чин-чинарем выйти на финал.

— Ну, быстрее! Ну что вы копаетесь? Опоздаете же! — торопили меня.

Такие напористые девицы! Мне совсем не хотелось выходить на сцену именно сейчас и в таком качестве. Я готовился как-нибудь отыграть финал, чтобы потом, после спектакля, принести коллегам повинную и сказать: «Простите старика и прощайте!» Но эти появившиеся ниоткуда девчонки взяли меня в такой оборот и так надели, что я невольно поддался их натиску и засуетился.

Напялив на себя пень, я, подражая участникам массовки, растопырил руки и, дивясь собственной выворотности, поспешил на сцену походкой, так свойственной жертвам внезапного приступа диарреи.

И вдруг я почувствовал, как кто-то крепко схватил меня сзади за пояс и не пускает. Послышался зубовный скрежет и почти плачущий голос Еремеенко:

— *Штаны бы хоть передел!*..

Я глянул вниз и ахнул: на мне королевские панталоны, белые чулки с подвязками и начищенные башмаки его величества! Еще один конфуз. Да что ж такое...

Но обратной дороги уже не было: меня узнали!

— Ой, мама! *Король! Король!* — заголосила курносая девчушка, показывая на меня пальчиком. И вслед за ней остальная малышня захлопала в ладоши, еще сильнее затопала и закричала: «Король! Король! *Ура!!!*»

У меня защемило сердце. Нельзя обманывать маленьких детей! Нельзя разрушать их надежду на лучшее! Не позволю! Не я!..

Ничего другого не оставалось. Я решительно расцепил чужие пальцы на моем поясе и, не меняя характеристики, набросился на арьергард темных сил, награждая ненавистных малышам чудищ пинками и затрещинами. Участники массовки не сразу поняли в чем дело, но потом, умницы, вружились и стали правильно отыгрывать мои действия, то есть, падать и уползать со сцены. Я вдруг осознал то, что *благодаря им, артистам массовки, это была моя лучшая, звездная, хотя и последняя роль*, ибо в том, что меня с позором выгонят, сомнения не было.

А напоследок хотелось пошалить, и я, вспомнив старое доброе кино, приподнял, как забрало, пень, показал ликующей детворе свое лицо и схулиганил.

— *Не видать, Гаврила, какая твоя работа!* — закричал я отвесившему челюсть женишку.— *А ну, покажь храбрость!*

И, нахлобучив пень обратно, я снова принялся за дело. Краем глаза вижу, как удивлена главная героиня. Она не сводит с меня своих больших голубых глаз, но сражаться продолжает как надо.

Вот только «доблестный» общую картину портит в ударном порядке. Он так ошарашен, что вообще застыл и тупо глазеет на меня с отключенной челюстью, а меч держит — ну очень неприлично... Закрой рот, ты, щелкунчик,— птеродактиль залетит! И двигайся хоть как-нибудь, а то у зрителей создается впечатление, что чудища натываются на волшебную статую, после чего корчатся в судорогах и уползают прочь зализывать раны, которых ты им, жлобина, не наносил!.. Нет, этот паралитик, как бог свят, погубит сцену.

Пользуясь тем, что зрители следят только за мной, а на хватившую «славного» рыцаря кондрашку внимания пока не обратили, подсакиваю к этому дылде, со словами «Дай-ка сюда, сынок!» отбираю у него меч и, размахивая клинком, обращаю полчище лесных чудищ в бегство! Когда последнее из них после увесистого пинка скрывается за кулисами, я сбрасываю с головы картонный пень и воздеваю к небу победоносный меч:

— *Наша взяла!*

Ах, если бы кто знал, как приятно, хоть на один миг, почувствовать себя Александром Невским! Может быть, примерно вот так встречали его псковичи после Чудского озера, как восторженно приветствуют меня сейчас благодарные малыши...

Зазвучала бравурная музыка финала. Я облегченно вздохнул. Гимнастка склоняется передо мной в глубоком реверансе и при этом незаметно наносит распрекрасному графу короткий удар кулаком в подколенную впадину. Иначе этот олух ни за что бы не опустился перед королем на одно колено,— так долго длится его удивление.

— Встаньте, милая! — Я галантно беру девушку за руку и помогаю ей подняться.— Ты тоже вставай! — милостиво кивнул я ее кавалеру и прочувственно заговорил в том духе, что, мол, друзья мои, самое страшное позади,— рухнули чары злой колдуньи, враги разгромлены наголову.

— А с вашей мачехой, красавица, я еще разберусь. Она у меня в два счета узнает, что такое нары!

Главная героиня смотрит на меня с живейшим интересом. У нее от смеха трясутся плечи. Она разругалась и стала еще краше. Жаль, что пора выдавать ее замуж, да еще за этого охламона. Однако то, что спектакль подходит к концу, вселяет надежду...

Я соединил руки молодых и с пафосом воскликнул:

— Дети мои! Будьте счастливы! Совет вам да любовь и — детишек побольше!

Потом потрепал графа по щеке и проникновенно добавил:

— *Будут проблемы, сынок, — обращайся без церемоний!*

Перед тем, как обняться со своим избранником, героиня лукаво сверкнула глазами и едва заметно показала мне язык.

Отгремел последний мажорный аккорд. Спектакль окончен. Артисты выходят на поклон. Гром аплодисментов и шквал эмоций зрительного зала. Вместе с основной группой участников спектакля я отступаю назад, оставляя на переднем плане главных героев — жениха и невесту. Но что это? Ушам своим не верю: детвора, а вслед за ней и взрослые начинают скандировать: «*Ко-роль! Ко-роль!*» Смотрю — вышедшие на поклон артисты тоже аплодируют. Уж не знаю, с каким сердцем они это делают... Приходится вернуться. Исполнительница главной роли перебежала, чтобы стать от меня справа и взять под руку, так что я вообще оказался посередине, в центре всеобщего внимания.

После нескольких поклонов ко мне стали подбегать малыши и подходить их мамы. Дети восторженно прыгали вокруг. Мамы протягивали для автографа программки. Особенно усердствовали русоволосая мама умненькой курносой малышки и та жгучая украинка, мамаша черненького хохотуна. Отпихивая друг друга, они просили кроме автографа еще и номер моего телефона. При этом они так выразительно на меня смотрели, что я вконец обнаглел и стал лихорадочно соображать, как распланировать вечера на неделю.

Мои вычисления прервал внезапно появившийся перед носом большущий букет цветов. Как честный человек и дворянин я рассудил, что было бы несправедливо, если бы он не достался отважной гимнастке. Я преподнес ей эти цветы и, поздравив с премьерой, негромко спросил, не согласится ли юная героиня после спектакля где-нибудь в уютном кафе за чашечкой кофе и бокалом шампанского рассказать мне, только поподробнее, где она научилась так восхитительно работать на трапеции. Когда я нагнулся, чтобы поцеловать изящную, но сильную ручку, то услышал возле самого уха: «Ваше величество, вы неотразимы!» И мою щеку обожгло многообещающее прикосновение горячих губ.

С ума сойти! Сердце мое бултыхнулось в океан оливкового масла, переполненная чувствами душа бурлила, как забродившая брага, воображение рисовало красочные картинки, одна другой соблазнительнее, вследствие чего в голове варилась черт знает

какая дьявольская каша. Мне еще никогда в жизни не было так хорошо! Пусть всем и всегда будет так же хорошо, как мне сейчас!..

Едва подумав об этом, я вздрогнул и с опаской покосился в сторону режиссеров. Там происходило нечто странное в свете того, что я только что наворочал. Критики, в отличие от зрителей, бросились не ко мне, а к Зое Сергеевне: «Успех! Полный успех!» — перебивая друг друга, кричали они и при этом горячо пожимали и трясли ей руки, покрываемые их же поцелуями. Евгений Петрович, наконец, отлепился от колонны, и лицо его начало приобретать прежние, естественные краски.

Зоя Сергеевна потрясенно и с недоверием смотрит поочередно на каждого из критиков, явно желая понять, не изволят ли шутить маститые эксперты в области театрального искусства. Но те совершенно искренне захлебываются от восторга:

— Ваш король — просто чудо!.. Редкостное дарование! Этот актер — поистине открытие сезона!.. Сколько ему лет?.. Неужели так много?! Ну — ничего, ничего... Зато какой *недюжинный талантище!*

Не понимая, как серьезные взрослые люди могут нести такой чудовищный вздор, Зоя Сергеевна переводит взгляд своих расширенных до предела глаз туда, где я давно уже, сам того не замечая, стою в обнимку с юной гимнасткой, причем нас всюю фотографируют. Зоя Сергеевна опять показывает мне кулак, но уже не так уверенно, и в уголках ее глаз теплится растерянная улыбка.

А критики не унимаются и теперь расхваливают режиссуру:

— Какая глубокая концепция!.. Какая оригинальная трактовка!.. Неожиданная сверхзадача!.. Злободневная проблематика!.. Актуальная тема!.. Современное звучание!.. Верно подмеченные параллели!.. Выпуклые характеры!.. Гражданская позиция!.. *Высокий жизнеутверждающий гуманизм!*

Зоя Сергеевна, совершенно сбитая с толку, снова оборачивается ко мне и, как бы ища поддержки, разводит руками: что они, мол, рыбный суп ели?

Меня разбирает смех. Действительно, неужели они это серьезно? Но окончательно добил меня тот критик, который подытожил:

— Вам непременно надо дать этот спектакль на сцене областного драмтеатра. *Его должна увидеть широкая театральная общественность!*

Я представил себе, как при полном аншлаге на сцене академического театра блестящий сказочный король кроет матом... И меня прорвало — расхохотался во все горло! Никогда раньше я так не смеялся! Меня буквально скрючило от смеха. Я задохнулся, я осел на пол, держась руками за живот, всерьез опасаясь, что что-нибудь внутри вот-вот лопнет, но остановиться не было никакой возможности. От натуги в глазах замелькал калейдоскоп разноцветных искр; голова закружилась, я потерял равновесие, стремительно падая куда-то в тартарары, и от собственного хохота... проснулся!

Я все смеялся, смеялся, смеялся и, наверное, минут тридцать корчился на своей постели в веселых мучениях. В течение этого получаса приступ хохота то затихал, то разгорался с новой силой. Наконец, я успокоился и огляделся.

На столе в напряженной позе сидел мой верный сибирский кот. Он встревоженно глядел на меня, выпучив свои зеленые глазища, как бы спрашивая: «Папа, что это с тобой?» Светящиеся электронные часы показывали без нескольких минут три.

Я встал, подошел к столу, погладил большого пушистого кота и, глубоко вздохнув, стал смотреть в окно, за которым безраздельно хозяйничала ночь. Тихо. Не слышно ни лая собак, ни ора затевающих драку котов. Все замолкло и замерло до утра в сонном оцепенении. Только часа через два зазвенит, зашаркает лопатой дворник, расчищая тротуар от свежего снега, и нехотя потянутся, каждый по своим делам и в своем направлении, первые прохожие.

Я всматривался в ночную мглу, прокручивая в памяти годы, посвященные народному театру. Как давно и как хорошо это было! Их не вернуть, этих радостных лет, наполненных светлыми ожиданиями и жаждой творчества. Никогда больше мне не выйти на сцену в театральной роли. Но я не испытывал горечи от того, что свою последнюю, самую веселую и яркую роль я сыграл во сне, и от того, что самое прекрасное и желанное так и осталось там, в волшебном мире сладких ночных грез. На душе у меня было покойно и светло. Мне хорошо. Хорошо, оттого что я здоров и полон сил, а под моей ладонью умиротворенно мурлычет большой сибирский кот. Мне хорошо, оттого что у меня есть дело, позволяющее сводить концы с концами, а иногда устраивать себе маленькие праздники. Мне хорошо, оттого что я знаю, зачем живу и что делать.

Скоро забрезжит рассвет. Встанет солнце. Будем работать, жить и радоваться жизни. Будем любить и, если повезет, будем любимы. А еще — понесем и дальше в своем сердце то удивительное, прекрасное, согревающее душу, вдохновляющее и наполняющее наше бытие высоким смыслом живительное добро, имя которому — *театр!*



Сергей Крестьянкин
(г. Тула)



ДЕРЕВЕНЬКА КРАЕВО

Родился в 1962 г. в г. Орле в семье военнослужащего. В конце 70-х годов минувшего века вместе с родителями переехал в Тулу, где окончил школу, а затем ТГПИ им. Л. Н. Толстого, ф-т русского языка и литературы. Окончил школу репортеров при газете «Молодой коммунар» и был ее внештатным корреспондентом. Публикации в газетах «За педагогические кадры», «Тульская молва», «Ударник», «Московский комсомолец», «Коммунар» и на областном радио.

Колокольный звон был слышен за много верст вокруг. В гору по дороге к церкви шла огромная толпа народа. Видно, вся деревня Краево вышла проводить помещика Сомова в последний путь. Впереди похоронной процессии шел поп с кадилом и библией в руках. За ним шесть человек несли богато убранный гроб. Следом шли певчие. После них медленно двигались оборванные и грязные, с усталыми лицами, крепостные.

Придя на кладбище, гроб поставили около свежеврытой могилы. Вокруг, насколько это было возможно, стояли люди — образуя плотное кольцо.

Постояв некоторое время в полном молчании, поп Нестор принял читать молитву, певчие ему подпевали. Гроб заколотили и на веревках опустили в могилу. Все пришло в движение, крестьяне учащенно закрестились. Быстро образовался холм на том месте, где только что была яма.

Далеко за полночь в деревню въехал экипаж, запряженный парой стройных коней. Он остановился возле дома помещика Сомова. На стук в дверь вышел заспанный старичок. Он закланялся, впуская приезжего в дом, а лошадей отвел в конюшню.

На следующее утро из барского дома вышел молодой человек в черном смокинге и цилиндре. Окинув взглядом все вокруг, он заспешил в сторону церкви.

Поп Нестор находился еще в опочивальне, когда ему доложили о прибытии молодого господина. Неторопливо одевшись и расчесав бороду, он критически осмотрел себя в зеркале, проверив каждую деталь своего туалета. После чего степенно вышел к гостю. Каково же было его удивление, когда в молодом человеке он узнал Андрея Сомова.

— Андрей Романович, дорогой мой! Сколько же я тебя не видел?! — обнимая Сомова, восклицал поп Нестор.— Правильно сделал, что приехал. Не надо забывать родные места. Да, немного ты не успел. Роман Алексеевич так хотел тебя увидеть перед смертью. Он так и говорил: «Посмотреть бы на Андрюшу счастливого и достигшего высот науки, а тогда и помирать можно...» И вот, не дождался всего нескольких дней.

— Я хочу, чтобы вы проводили меня к могиле.

— Конечно, конечно, Андрей Романович, это же свято. Хоть сейчас сразу и пойдем.

После посещения кладбища, молодой помещик и святой отец Нестор возвратились в барское поместье, но вскоре священник покинул дом Сомовых.

На протяжении трех следующих дней Андрей Романович не выходил из дому и, как уверяли домохозяева, пил без передыху, требуя все нового и нового зелья.

На четвертые сутки, в пятницу, ближе к вечеру, к дому Сомовых подкатила телега, с нее слез, по всему видимо, офицер. Отряхнувшись, осмотревшись, заплатив мужику, он неторопливо вошел во двор. Как его встретил хозяин, о чем они вели беседу, никто этого не знает. Но на следующее утро, Андрей Романович не затребовал, как бывало, очередную порцию водки, хотя Аграфена уже приготовила даже на несколько бутылок больше, рассчитывая и на вновь прибывшего гостя. И до самого обеда из барских покоев не доносилось ни звука. Лишь в обед появился молодой офицер и сказал, что барин повелевает приготовить к пяти часам ужин на две персоны. Все эти три дня молодой помещик не притрагивался к пище, поэтому повар, араб Маиз, постарался на славу, и стол просто ломился от всевозможных вкусных и разнообразных блюд.

Аграфена послала Анфису — молодую девку, в барские покои, дабы сообщить, что стол накрыт. Но не успела та проделать и половину пути, как дверь во втором этаже распахнулась, и по лестнице неторопливо начал спускаться помещик в сопровождении своего гостя — молодого стройного человека в офицерском мундире с маленькими усиками на верхней губе и пышными бакенбардами, переходящими в аккуратную бородку.

Барин, в свою очередь, совсем не походил на человека, который на протяжении нескольких дней пил без передыху. Хороший, здоровый цвет лица, гладко выбритая кожа, абсолютно ясный, хотя и печальный взгляд карих глаз, аккуратно расчесанные волосы. Все это вызвало крайнюю степень удивления у всех окружающих, не ожидавших увидеть молодого барина в таком хорошем состоянии.

Ужин прошел в полном молчании.

Андрей Романович ел мало и вяло. Его же гость, напротив, уплетал все подряд без разбору с огромным аппетитом. И смотря на него, можно было подумать, что это не Сомов, а он трое суток отказывался от еды.

После ужина офицер от имени хозяина распорядился заложить тройку.

Андрей Романович продолжал молчать.

Экипаж подали к крыльцу. Барин, так и не проронив ни слова, уселся, рядом с ним — его гость, и они медленно покатали неизвестно куда. Кучер тихо, но умело правил лошадьми. Видимо, настроение господ передалось и ему. Он то же молчал, сидел сгорбившись, и думал о чем-то своем.

Почти около каждой крестьянской избенки экипаж надолго останавливался. Мужики и бабы кланялись и ждали, что скажут господа, но те молча смотрели, и крестьяне постепенно расходились по своим делам, а экипаж продолжал двигаться дальше. Было похоже, что молодые люди изучают крестьянские жилища или быт. Создавалось впечатление, что барин никогда не видел такой жизни и теперь, как бы случайно наткнувшись, с удивлением рассматривал ее во всех подробностях.

Уже совсем стемнело, когда барин с гостем соизволили вернуться домой. Наскоро выпив по чашке чая, господа отправились в опочивальню, не сделав никаких распоряжений на завтрашний день.

Вся прислуга была в недоумении; не привыкшие к такому поведению господ, они не знали, что и подумать. «Уж не кондрашка лихватила их молодого барина... Что-то он все молчит, а распоряжается приезжий... Не потерял ли их хозяин, чего доброго, дар речи! Ох, не к добру все это...» Все были взволнованы, в ожидании, что что-то должно произойти. Спали эту ночь плохо: кого мучили кошмары, кто вообще не спал.

А утром, ни свет ни заря, господа вновь уехали, никого не предупредив и не сделав никаких распоряжений.

Вернулись опять поздно. Андрей Романович был очень рассержен, кого-то сильно ругал, и не мог найти себе места от волнения. «Вот оно. Началось...» — в страхе подумали домочадцы, прячась по углам. Но на удивление очень скоро Сомов успокоился, затребовал к себе самовар, варенья и сдобных булочек.

Часов до двух они с приятелем о чем-то тихо беседовали. Причем молодой помещик вскакивал с места, размахивал руками, горячился, но, постоянно натываясь на спокойный, хладнокровный и убедительный говор гостя — остывал, садился и продолжал пить чай, слушая неторопливую речь офицера.

В шесть утра дверь во втором этаже отворилась и на балкончик вышел молодой барин в пестром халате.

Оглядевшись вокруг и постояв немного в задумчивости, он поскреб подбородок и негромко позвал:

— Аграфена...

Ему ответом была полная тишина.

— Аграфена! — слегка крикнул он.

Тотчас же в глубине дома раздалась возня, захлопали двери и перед взором Сомова предстала пожилая женщина в сером выцветшем платье и каких-то лохмотьях на ногах. Редкие с сединой волосы туго закручены на затылке. Рукава платья закатаны по локоть, обнажая сильные, мускулистые, привыкшие не бояться никакой тяжелой работы, совсем не женские руки.

— Чего изволите, барин? — она смотрела на него снизу вверх в ожидании.

Молодой помещик не торопился с ответом, видимо что-то обдумывая.

Постояв несколько минут в молчании, он вероятно пришел к какому-то решению, так как быстро спустился вниз и подошел к женщине.

— Ты вот, что, Аграфена... Кстати, как твое отчество?

— Да зачем это вам, барин? Аграфеной меня кличут. Всю жизнь Аграфена... Я так и привыкла... А вы — отчество...

— Вот и плохо, что привыкла. Так как же твое отчество, я тебя спрашиваю?

— Никитична, барин...

— Никитична... Значит вот, что, Аграфена Никитична, во-первых, не называй меня барином, а зови просто Андреем.

— Да как можно, барин, — опешила Аграфена.

— Ну вот, опять ты за свое... Скажи, пожалуйста, я твой барин?

— Ясное дело — барин.

— Значит ты должна выполнять все, что я тебе прикажу?

— Приказывай, барин, — покорно согласилась женщина.

— Вот я тебе и приказываю не называть меня барином, хозяином или господином, а зови меня, если не Андреем, то Андреем Романовичем. Ясно?

— Ясно, барин.

— Ну вот опять. Я же только что говорил. Уясни себе это хорошенько и всем остальным передай. Иначе буду наказывать, и очень строго. Теперь ясно?

— Ясно.. Андрей Романович, — со вздохом отвечала Аграфена.

— А я тебя буду называть Аграфена Никитична. Ты все-таки раза в три старше меня... А что, есть у тебя муж, дети?

— Муж конюхом еще при вашем батюшке, царство ему небесное, на службе состоял. А дети... Двое в солдатах, один маленький помер, дочка сейчас растет... Пятнадцатый год пошел.

— Так, понятно... И еще. Гостя моего зовут Аркадий Львович Инсаров. Запомни. Аркадий Львович и никак больше. Ясно?

— Да уж куда ясней,— развела руками Аграфена.

— Ну вот и чудесно. А теперь ступай и вели приготовить нам завтрак.

Завтрак удался на славу. Господа плотно поели и все не переставали расхваливать поварское искусство в приготовлении необычайно вкусной пищи. После чего был подготовлен экипаж и молодые люди отправились в свою очередную поездку.

На кóзлах сидел все тот же мужик в какой-то грязной, прожженной в нескольких местах хламиде и бесформенном рваном картузе. На ногах у него виднелись дырявые лапти, да такие, что лучше бы их было снять вовсе и ходить босиком, чем носить такие.

Кучер был заросшим до такой степени, что казалось, будто бы борода у него начинается под самыми глазами. Он сидел сгорбившись и со стороны казался маленьким беззащитным птенцом, который еще не умеет летать. Но лошадыми управлял здорово. В натруженных мозолистых руках мужика чувствовалась необычайная сила, и лошади слушались малейшего его движения. Любо-дорого было смотреть на этот хорошо слаженный, отточенный годами «механизм».

В городе экипаж остановился возле владений цирюльника. Господа привели себя в надлежащий вид. И с огромным трудом, прилагая невероятные усилия, удалось затащить туда возничего и придать ему человеческий облик.

После посещения цирюльника кучер превратился в молодого человека лет тридцати, да к тому же еще и приятной наружности. Тихон, так звали кучера, долго стоял перед зеркалом; рассматривал свое отражение; трогал лицо руками... Господа сидели в стороне молча, только тихо посмеивались, но не мешали Тихону созерцать и привыкать к новому своему обличению. Вот он последний раз посмотрел в зеркало, тяжело вздохнул, как бы смиряясь со своим положением, вышел на улицу, проверил подруги у лошадей и уселся на свое привычное место.

Отъехав от цирюльника и повернув обратно экипаж, не доехал до деревни Краевой неторопливо направился к следующей деревеньке. Пассажиры вели тихую непринужденную беседу; возничий дремал на кóзлах; в абсолютно чистом, без единого облачка, небе пел свою знаменитую песню жаворонок; солнце лениво смотрело с высоты, но все-таки по крупицам, как бы нехотя, одаривало землю теплом. Дождь, по всей очевидности, в ближайшие сутки не предвиделся.

Андрей Романович вот уже на протяжении нескольких минут рассеянно слушал своего товарища, думая о чем-то своем, но вдруг встрепенулся, чуть приподнялся, высматривая что-то впереди. Инсаров проследил за взглядом Сомова и увидел далеко по направлению их движения черный столб дыма.

— Ну вот и деревенька Горелица,— проговорил Андрей и, печально усмехнувшись, добавил:

— А это — ее опознавательный знак, чтобы не сбиться с пути.

— Почему Горелица? — поинтересовался офицер.

— Да уж так ее привыкли называть. Испокон веков ей везло на пожары. Я с детства помню — там вечно что-либо горело. Народ привык к этому, утвердившись во мнении, что это бог наказывает их за прегрешения. Тихон, прибавь-ка немного ходу!

Когда они въехали в деревню, то увидели, что (скорее всего) сарай сгорел дотла. Дымились еще отдельные головешки, но в основном пожар закончился. Огонь умирал и бился в своих предсмертных судорогах. Погода стояла тихая и безветренная, поэтому огонь был не опасен — у него не было уже сил перекинуться на соседние деревянные постройки.

— Удивительно, но я не вижу ни хозяев, ни толпы зевак. И по-моему никто даже и не пытался затушить пожар,— не переставал удивляться увиденному Аркадий Львович.

— Я же тебе говорил, что дело привычное и никого этим не удивишь. Такое случается чуть ли не каждые полгода. Все привыкли и считают, что это бог гневается.

Они долго стояли над огромным затухающим кострищем, о чем-то тихо переговариваясь, прежде чем отправиться дальше.

Но не проехали и сотни метров, как снова пришлось останавливаться. Какой-то мужик яростно избивал женщину. А та не кричала, не стонала, лишь молча плакала, утирая глаза тряпицей.

Андрей с Аркадием, не сговариваясь, одновременно выскочили из экипажа и в мгновение ока оказались на месте расправы. Мужик и глазом не успел моргнуть, как был отброшен далеко в сторону.

— Да как ты смеешь, подлец, бить женщину! — Сомов прямо кипел от возмущения.

Инсаров склонился над женщиной и что-то тихо ей говорил.

— Дык... это, барин... как его,— поднимаясь на ноги, крихтел Ермолай.— Да ведь это баба, и к тому же моя жена.

— А что, если — баба, то ее и бить можно, словно скотину? — закричал молодой помещик.

— Дык, провинившаяся она, вот я ее и учу уму-разуму-то. Всегда так было...

— А теперь больше не будет! — резко прервал мужика Сомов.

Ермолай не знал уже куда и деться от грозных очей барина. А тот в свою очередь проговорил:

— Во-первых, это — не баба, а — женщина. Во-вторых, проси у нее прощения сейчас же, здесь, при мне.

Когда перепуганный до смерти Ермолай выполнил приказание господина, тот продолжил:

— И в-третьих, чтобы впредь я не видел больше таких вещей, иначе шкуру с тебя спущу. Запомни хорошенько все, что я тебе сейчас сказал и — смотри у меня!

Экипаж уже отъехал от этого места, но в ушах еще долго стоял лепет опешившего мужика: «Дык, это... как его... ясно... Дык, это... можете не сумлевать... Дык, барин, конечно... чего же тут непонятного... Дык, это...»

На следующий день офицер ходил по дворам и переписывал всех крестьян от мала до велика, а молодой помещик до самого вечера, отобрав у обалдевшего от неожиданности мужика плуг, самолично пахал землю. И так было несколько дней. Инсаров за это время согнал часть крестьян в летний дом барина и принялся их обучать грамоте...

А Сомов объявил всех своих крепостных вольными. Сам целыми днями пахал землю. Хорошим работникам дарил сапоги, платки, платья... А совсем уж нищим крестьянам давал некоторое количество денег.

И пошел по деревням слух, что молодой помещик или тронулся умом, или околдован нечистой силой в образе офицера, так как все это началось с его приезда.

Несколько раз поместье Сомова навещал святой отец Нестор и соседи-помещики. Но Андрей Романович очень мало уделял им внимания и уезжали они обиженными, взволнованными и рассерженными. Зарекаясь, что впредь «ноги их больше не будет в этом доме».

А жизнь в деревеньке Краево и в других деревушках поместья Сомовых шла своим ходом. С тех пор прошло несколько месяцев, как приехали господа и взяли бразды правления в свои руки. У жителей этих деревень пропал тот первобытный страх, который они испытывали при старых хозяевах. Андрей Романович на свои деньги закупил несколько коров, лошадей, уток, гусей и раздал всю эту живность самым бедным из крестьян.

После всех тех перемен, которые произошли за эти месяцы, люди окончательно уверовали, что бог услышал их неоднократные молитвы и ниспослал им доброго барина.

В конце концов барский дом оказался тесен и не мог уже вместить всех людей обучающихся грамоте. Нужно было новое просторное и светлое помещение. Поэтому Аркадий Львович, с помощью крестьян, расчистил место под школу, привез кое-какие материалы, и крестьяне, под его руководством и по его собственноручно изготовленным чертежам, принялись воздвигать стены будущего храма науки.

Как известно, людская молва распространяется необычайно быстро и вскоре о деревеньке Краево заговорили не только в окрестных деревнях и близлежащих городах, но и в самом Санкт-Петербурге. Сначала при царском дворе диву давались, прослышав о творившемся в поместье Сомовых. Затем многозначительно улыбались и даже смеялись... Стали очень модными, на некоторое время, появившиеся анекдоты про деревеньку Краево, тамошнего помещика, молодого офицера и т.д.

Но вскоре до высшего света начали доходить слухи об очередных новшествах, придуманных и приводимых в исполнение молодым помещиком, и стало совсем не до шуток...

— Если и дальше эдак пойдет, то что ж это будет-то!? — возмущался помещик Нахопетов — ближайший сосед и когда-то лучший друг семьи Сомовых.

— Ты, Николай Трофимыч, не горячись, — убеждал того Елизар Палыч Маров — помещик из «Орлиных Гнездовий». — Мы для этого и собрались здесь все вместе. Тут надо с умом подойти и не спеша во всем разобраться.

— Да пока разбираться станешь, — вмешался в разговор помещик Логвинов, имеющий самые лучшие и сочные луга во всей округе, — там одному богу известно, что может произойти!

— И то верно, — поддержал того Никодим Егорыч. — Среди моих крепостных уже шумок какой-то ходит. А дальше что, я вас спрашиваю? Различные недовольства, волнения всякие начнутся. Выйдут из повиновения, а там и до бунта недалеко. Вы этого хотите?

— Ну зачем же сразу рисовать такие мрачные картины, — скривился, как от зубной боли, Маров. — Все-таки Андрей Романович, недавно вступивший во владения — помещик молодой. Опыта у него недостаточно. Я предлагаю встретиться с ним, побеседовать. Разъяснить, что к чему. Указать на ошибки, раскрыть ему глаза и помочь, если потребуется.

— Эх, Елизар Палыч, — вздохнул Петр Евграфович Климов, — Вы долгое время отсутствовали в своей деловой поездке и не в курсе настоящего положения дел.

— Так в чем же дело? Объясните мне, наконец!..

— А дело в том, — продолжал Петр Евграфович, — что мы уже неоднократно, и по одиночке, и группами навещали Андрея Романовича, но образумить его, как видите, не удалось.

— А я считаю, — задумчиво произнес после некоторого молчания Никодим Егорыч Паташов, — что во всем виноват тот молодой офицер, который почти с самого начала правления Сомова проживает у того в поместье и, как видимо, имеет огромное влияние на вновь испеченного помещика.

— Кстати, что он из себя представляет — этот офицер, случайно никто не знает? — поинтересовался Нахопетов.

— Как же, как же, — сразу откликнулся, до сих пор молчавший, Евлампий Порфирьевич — маленький лысоватый человечек с длинным и удивительно острым носом и с хитрым прищуром глаз. — Навели справочки, кое-что разузнали. Аркадий Львович Инсаров, 26 лет отроду, холост. Поручик армии Его Императорского Величества и все в таком духе. Короче, он после ранения находился на излечении, а сейчас в долгосрочном отпуску.

— Я предлагаю вот что, — опять поднялся со своего места Макар Спиридонович Логвинов. — Всем нам, кто сейчас здесь собрался, поехать к Сомову и пригро-

зять, что если он не прекратит своих безобразий, то мы будем вынуждены принять крутые меры. А уж какие меры, можете не сомневаться, все вместе мы найдем на него управу, какое бы не имел его батюшка, царство ему небесное, высокое положение при дворе.

На том и остановились, так и порешили, с тем и поехали в деревеньку Краево.

Недолго удалось помещикам погостить у Андрея Романовича. Не успели они приехать, как уже уезжали восвояси.

На их лицах было красноречиво написано, что всем этим взрослым, умудренным опытом, людям не удалось укротить одного единственного, совсем еще молодого помещика, направить его, как они выражались, «на путь истинный».

После этого случая, как обычно, на смену дня приходила ночь; повар Маиз также превосходно готовил завтраки, обеды и ужины; Аркадий Львович продолжал обучать людей грамоте, счету и всевозможным интересным вещам, в которых сам прекрасно разбирался, и к тому же принимал непосредственное участие в строительстве школы.

А Сомов закупал для крестьян коз, лошадей, коров, кур, индюшек и так далее, и всячески помогал поднимать их хозяйства. Сам пахал, сеял, чинил инвентарь, учился плести корзины из ивовых прутьев, добывать лыко, обжигать горшки, ковать железо, ставить силки и капканы. Одновременно с этим он начал постройку десятка домов для, теперь уже не крепостных, крестьян в различных своих деревушках.

Полгода уже прошло, как появился новый барин. С тех пор люди перестали испытывать чувство страха. Они были спокойны за завтрашний день — знали, что голодными теперь не останутся. Стали хорошо одеваться, распрощавшись с лохмотьями; привели себя в надлежащий человеческий вид. Взяли за правило умываться каждый день. Теперь всякий — работает не надрываясь; почти все живут в достатке и в каждой семье есть все самое необходимое. На лицах у людей теперь не такое уж редкое явление — обыкновенная улыбка. Дети радостно играют в свои детские игры.

Все чаще в деревнях поместья Сомова слышится смех и веселые песни.

Поговаривали, что способных крестьян хотят послать учиться в большие города, а наиболее одаренных — даже за границу.

Казалось, ничто уже не сможет нарушить такого положения вещей, но так только казалось...

Помещики все-таки выполнили свою угрозу. Что они проделали, никто толком не знает, но только через месяц после последнего их посещения деревни Краево, на имя молодого помещика из самого Санкт-Петербурга пришел большой пакет с гербовыми печатями, на который, кстати сказать, Андрей Романович никак не отреагировал. А спустя месяц пришел еще один такой же пакет, которому тоже было уделено минимум внимания. После этого на протяжении двух месяцев их никто не беспокоил. За это время уже около сорока процентов всех людей поместья Сомова было обучено грамоте; построено около двух десятков домов для крестьян, и белокаменная школа возвышалась на пригорке — осталось только покрыть ее крышей и вставить стекла.

Но неожиданно в деревеньке Краево появилась богатая карета с каким-то важным чиновником, как уверяли: особо приближенным к Его Императорскому Величеству, в сопровождении полсотни верховых.

Почувствовав неладное, Аким — самый одаренный из крестьян и первый помощник молодых господ, отправил в деревню Крапивино посланника за Инсаровым.

Около трех часов находился чиновник в доме Сомова. О чем они беседовали — одному богу известно. После этого Андрея Романовича усадили в карету и с почетным эскортом увезли неизвестно куда.

Аркадий Львович прибыл с опозданием, но застал дожидавшегося его посыльного, который передал тому пакет от прямого начальника Инсарова. В послании говорилось о немедленном прибытии поручика к месту службы.

Ни Инсаров, ни Сомов больше не вернулись в деревеньку Краево.

Все крестьяне были вывезены далеко за пределы поместья и проданы малыми группами различным помещикам.

Андрея Романовича, это не составило большого труда, поместили в дом для умалишенных.

Дальнейшая же судьба Аркадия Львовича неизвестна. Поговаривали, что он воевал где-то на Кавказе и будто бы был убит. Другие, знавшие его, уверяли, что он попал под лавину в горах, что сорвался в пропасть. А третьи говорили, что он оставил военную службу и подался не то в Англию, не то во Францию.

И как-то сразу все забыли о Сомове и Инсарове, по крайней мере перестали об этом говорить. И только белокаменное здание на холме без крыши и окон напоминало о былых временах. Оно являлось своеобразным памятником, как бы подтверждающая, что все это происходило в действительности, а не являлось каким-то голубым сном...

Шел 1861 год — год отмены крепостного права.



Рудольф Артамонов
(г. Москва)



ЗАТМЕНИЕ

1

По окончании рабочего дня Роберт Петрович, вышел из института, где работал. Был осенний, но еще теплый день. Шел в самом хорошем расположении духа, потому что был молод, успешен в работе, свободен и хорош собой. Знал, что нравится девушкам. Уже была Лариса, с которой встречался почти год, и намечалось что-то серьезное.

Только что вернулся из отпуска, был свеж и полон разнообразных планов.

Шел, напевая легкий мотивчик.

Минут через пять он встретил девушку. Интуитивно почувствовал, что для нее встреча с ним не была случайной. Она, увидев его, сразу направилась к нему. Еще чуть-чуть и она сказала бы «здравствуй». Роберт Петрович замедлил шаг, но только на мгновение. Ничего необычного, яркого, достойного его внимания в ней не было. Серые глаза, приятное, улыбчивое лицо. Улыбнувшись в ответ, пошел дальше, краем глаза успел заметить недоумение и разочарование на ее лице.

По мере отдаления от места мимолетной встречи почувствовал, что где-то эту девушку видел раньше. Что-то знакомое ему было в ее фигуре, лице. Но что?

Весь дальнейший путь его занимала мысль, где и когда мог ее повстречать. Через некоторое время им овладело странное чувство, что не только видел ее раньше, но памятью рук знает ее фигуру, тело, даже запах его. Обернулся, чтобы спросить, где они встречались, но она исчезла в толпе, которая всегда образуется перед входом в метро по окончании рабочего дня.

И тут он вспомнил все.

2

Как молодому сотруднику, первый год по окончании вуза принятому в НИИ, Роберту Петровичу пришлось работать все лето. Отпустили через год, в сентябре, и снабдили путевкой на круиз на теплоходе до Волгограда и обратно.

Пришлось согласиться, хотя перспектива две недели провести в замкнутом пространстве в обществе неизвестно каких попутчиков радовала мало.

На Речном вокзале Роберт Петрович взошел по шатким сходням на оказавшийся вполне приличным теплоход «Николай Гоголь». К немалому разочарованию узнал, что по его профсоюзной путевке ему полагается на нижней палубе место в четырех-

местной каюте, за иллюминаторами которой совсем близко плескалась мелкая речная волна. По праву первого пассажира расположился на нижней полке. Через некоторое время явились его попутчики — молодые парень и девушка, как потом выяснилось, молодожены, и средних лет мужчина, тоже по профсоюзной путевке от завода отправленный в круиз.

Перезнакомились.

— Миша.

— Даша.

Это молодожены.

— Петя, — сказал коротко человек с завода.

— Роберт Петрович. Я врач и поэтому привык представляться по имени-отчеству.

Теплоход издал три гудка — два коротких и последний — длинный и стал медленно отдаляться от причала. Провожающие с причала махали руками, отбывавшие с борта теплохода делали то же самое в ответ. Лариса не пришла проводить, была в командировке. Но обещала встретить по возвращении. Она была газетный журналист, поэтому часто бывала в командировках, и эти частые разлуки, иногда по неделе и больше, поддерживали в них интерес друг к другу, который они считали любовью.

Первые день-два Роберт Петрович не знал, куда себя деть. Миша и Даша были заняты только собой и просили без стука не входить в каюту, где проводили большую часть дня. Петя быстро нашел себе компанию для игры в карты. Пройдя весь теплоход снизу доверху, Роберт Петрович на верхней палубе нашел кают-компанию, просторную, светлую от больших окон, с большим портретом Николая Васильевича Гоголя в простенке. Стеклопанель из кают-компании выводила на площадку, которая простиралась до самого носа теплохода. Здесь можно было постоять, опершись на перила, и полюбоваться проплывающими по обеим сторонам пейзажами.

В погожие дни кают-компания была почти пуста. Несколько человек, чаще пожилые пары проводили здесь послеобеденное время. Сидели молча или неторопливо и неслышно разговаривали. Читали. Смотрели телевизор. Если же принимался нудный сентябрьский дождь, да еще и ветер, кают-компания наполнялась, и можно было видеть большее разнообразие лиц. Вечерами публика менялась. Приходили немногие среди пассажиров молодежь, молодые замужние пары. С первых же дней стали бывать здесь соседи по каюте — Миша и Даша. По корабельному радио давали танцевальную музыку. До одиннадцати часов длились танцы.

В первые дни Роберт Петрович часто сживал в кают-компанию. Разглядывал окружающих. Иногда читал прихваченный на время неизбежной, как он думал, скуки в вынужденном путешествии только что вышедший роман «Путешествие дилетантов». Думал, что это роман о путешествиях, и будет что сравнить со своим круизом, но, раскрыв книжку, обнаружил, что это «записки отставного поручика Амираана Амилахвари», и вовсе не о путешествиях, и вообще девятнадцатый век.

По прошествии нескольких дней понял, что, собираясь в это непривычное путешествие, «дал маху», как он сказал себе. По утрам некоторые из пассажиров бегали трусцой по палубе. Это стало в последнее время модно. На них были спортивные костюмы и кеды. Роберту Петровичу бегать было не в чем. Взял лишь костюмную пару, куртку на случай непогоды, рубашки и даже два галстука, полагая, что это приличествует принадлежности его к врачебному сословию, а также круизному путешествию.

Бегать трусцой в костюме и штиблетах было невозможно, и он стал ходить в хорошем темпе по второй палубе, решив делать, переходя с одного борта на другой, не меньше десяти кругов в день.

В один из дней, выполняя необходимую в условиях ограниченного пространства

физическую нагрузку, увидел сидящих в шезлонгах двух женщин. Одной из них было явно за сорок. Другая была молодая, моложе его, девушка приятной, как про себя отметил, наружности. Они были заняты разговором и не обратили на него внимания. Через пару дней, когда проходил мимо, невольно для себя улыбнулся им, как знакомым вследствие каждодневных встреч, и получил улыбку в ответ. В другой раз на первом круге своей пешеходной прогулки поклонился им со словами «доброе утро» и в ответ получил благосклонный наклон головы обеих женщин.

Перед обедом, проходя мимо кают-компаний, он услышал звуки фортепьяно. Войдя, увидел за инструментом ту самую молодую девушку, которая ответила поклоном на его приветствие утром. Он сел и стал слушать. Слушателей было мало. Кроме старшей подруги девушки, еще несколько человек тихо сидели, впечатленные необыкновенностью обстановки — звуки фортепьяно и за широкими окнами кают-компаний проплывающие пейзажи ранней русской осени. Когда она закончила играть, раздались редкие хлопки немногочисленных слушателей. Роберт Петрович тоже несколько раз ударил в ладоши.

И девушка заиграла снова.

Когда импровизированный концерт закончился, обе женщины вышли из кают-компаний, и Роберт Петрович последовал за ними.

— Что вы играли в самом конце? — спросил он.

— А вы не узнали? — вопросом ответила девушка.

— Я люблю классическую музыку, — почти правду сказал молодой доктор, — но не настолько, чтобы узнавать редко исполняющиеся произведения мало известных авторов.

— Вы угадали, это редко исполняемое инструменталистами произведение пока еще мало известного у нас композитора, — ответила спутница девушки. — Оно звучит в фильме Михалкова про Обломова. Помните? Это переложение для фортепьяно каватины Нормы из оперы Беллини «Норма». Называется «Casta Diva».

— Я врач. Такие тонкости мне недоступны.

— Какое совпадение. Инна Григорьевна тоже врач.

— А Лена студентка консерватории, — пояснила Инна Григорьевна.

— Тогда все ясно, — заключил Роберт Петрович.

* * *

После знакомства с Леной и Инной Григорьевной Роберту Петровичу стало не так скучно на теплоходе «Николай Гоголь». От утренних прогулок быстрым шагом по палубе он не отказался, но все чаще они втроем стояли на палубе и смотрели на проплывающие мимо берега. Теплоход плыл все дальше и дальше. Миновали Рыбинск. Любовались колокольной церкви, затопленной рукотворным морем.

— Вы кто, Роберт Петрович, по специальности? — спросила Инна Григорьевна.

— Педиатр. А вы ?

— Как интересно — мужчина педиатр. Я врач, как говорят, темных дел.

— Как это?

— Угадайте, — весело сказала Лена.

— Патологоанатом.

— Не угадали.

— Сдаюсь. Не знаю.

— Кто работает в темноте? На ощупь? — не унималась Лена.

— Может быть, извините, гинеколог?

— Хватит гадать. Я рентгенолог, — прервала дальнейшие отгадки Инна Григорьевна. — Педиатр редкая для мужчин специальность. Почему? Только не говорите, что любите детей.

— Именно потому, что люблю детей. Больше, чем взрослых.
— Взрослые интереснее,— вступила в разговор Лена.— Попадаются артисты, художники...
— Не скажите. Взрослые скучны, не искренни. Я, когда утром вхожу в отделение, мне навстречу бегут мои пациенты, и я вижу, что они искренне рады мне...
— Бегут? Разве они не лежат на кроватках? — спросила Лена.— Они же больные.
— Не все больные лежачие... Знаете, как бывает трудно завоевать доверие ребенка. Но если это удастся...
— Вам, наверное, всегда удается? — сказала Лена.
—...как бывает приятно. Доверие ребенка многого стоит. Но его можно легко потерять, если...
— Если что? — Лена не сводила с Роберта Петровича глаз.
—...если быть невнимательным к нему, к его вопросам, просьбам.
Молодому доктору было приятно внимание девушки. Он старался его удержать.

* * *

Вечером в каюте, улегшись на свою нижнюю полку, Роберт Петрович раскрыл «Путешествие дилетантов». Окуджава уже был известен своими песнями под гитару, и он думал, что роман будет о путешествиях, песнях у костра и веселых компаниях. Но первые же строчки обманули его ожидания. «Я присутствовал на поединке в качестве секунданта князя Мятлева. Князь стрелялся с неким конногвардейцем, человеком вздорным и пустым...». Он дошел до того места, где князь Мятлев музицирует за фортепиано, и некий заезжий музыкальный гений бурно восхищается его игрой. «В следующий раз попрошу Лену играть, и постараюсь выказать восхищение», решил Роберт Петрович. «Собственно, зачем?», спросил себя. «Да, так», ответил себе доктор.

В каюту после ужина и танцев возвратились Миша с Дашей и Петя. Начались разговоры о медицине, как бывает всегда, когда в компании оказывается врач. Книгу пришлось отложить в сторону.

Миша и Даша совсем юны. Мальчик и девочка. Они сидели на нижней полке напротив Роберта Петровича тесно, бок о бок. Когда говорил Миша, Даша с восхищением смотрела на него. Когда говорила Даша, с нее не сводил глаз Миша. Их речь была эмоциональна, но бедна словами, чтобы выразить то, что они хотели сказать. «Техникум или профучилище... Или рабочая молодежь», отметил про себя Роберт Петрович.

Пришедший следом рабочий Петя взобрался на верхнюю полку, в разговоры не вступал, и вскоре оттуда послышался легкий, но все усиливающийся храп.

— У нас в деревне была бабка. От всех болезней могла заговаривать. А фельдшер не понимал ни шута. К нему и не ходили. А ты умеешь заговаривать? — спросил Миша.

— Зубы заговаривать умею,— хотел отшутиться Роберт Петрович.

— Н-е-е-т, от всяких других болезней?

— От всяких других болезней я умею лечить.

— Лечить это долго. Бабка пошепчет, пошепчет и все сразу как рукой снимет.

— А ты сам ходил к ней? Она тебе шептала? — улыбнулся Роберт Петрович.

— Я нет. Один раз у меня воспаление легких было. В зад уколы ставили. Целую неделю.

— Понимаешь, Миша, заговор бабок рассчитан на внушаемость человека...

— Как это?

— Прежде всего ты должен верить этому человеку. Бабке. О ней уже молва идет. Она говорит, шепчет то, чего ты не понимаешь...

— Это точно,— огласился Миша.
—...И ты думаешь «всем помогает, и мне сейчас поможет». И ты чувствуешь облегчение.
— Вы знаете, правда. Я когда маленькая была...
— Ты и сейчас еще маленькая,— авторитетно сказал Миша, прервав Дашу.
—...У меня чего-нибудь заболит, ну, живот, например, бабка моя положит мне руку на живот и говорит «придет киска, придет лиска, боль у Дашки заберет и в лес унесет». А рука у нее теплая, мягкая. Несколько раз так скажет и живот перестает. Или когда ухо болело. На ухо руку клала.
— А почему только бабки умеют так делать? Шептать, заговаривать? — спросил Миша.
Молодому доктору нравилась любознательность ребят. Вопросы их были просты, наивны. Ответить не представляло труда.
— Потому что это бабки. Наши или чужие бабушки. Мы же любим своих бабушек, доверяем им. Поэтому помогает. Это и называется внушаемость.
Храп на верхней полке прекратился. В разговор вступил Петя.
— А ты хирург? — спросил он, свесившись с полки.
— Нет. Детский врач.
— Я только хирургов признаю. Ни тебе таблеток, ни уколов. Болит? Отрезал и все дела.
— А если то, что болит, отрезать нельзя? — вопросом ответил Роберт Петрович.
— Тогда само пройдет. Лечи, не лечи.
Роберт Петрович почувствовал, что разговор с Петей будет бессмысленный.
— Все, ребята, спать пора.
Закрыв книгу, которую так и держал открытой. Выключил над головой свет и отвернулся к стене.
Еще не заснув, он слышал, как Петя убеждал молодоженов, что во врачи должны идти только мужики, а бабам следует быть только акушерками.

* * *

Плавание продолжалось.
После Куйбышева, отплыв несколько часов, теплоход причалил к берегу. Это была так называемая «зеленая стоянка». Предлагалось сойти на берег и погулять не по надоевшей уже палубе, а по зеленой травке, пройтись по опушке леса, а на поляне поиграть в футбол. Место для такой стоянки было выбрано удачно — были и лес, и поляна, и небольшое футбольное поле с воротами.
По трапу сошли на легкий деревянный причал и ступили на землю. Был теплый сентябрьский день, и только иногда воздух наполнялся знобящим прохладным ветерком. Роберт Петрович сошел на берег вместе с Леной и ее неизменной спутницей Инной Григорьевной. Пошли прогуляться по лесу. Не частый, с просветами лес был полон солнечного света. Начинали желтеть лишь самые молодые деревца. Взрослые, сильные деревья еще держали зеленый лист.
— Как хорошо,— сказала радостно Лена, посмотрев на Роберта Петровича.
— Здесь хорошо, смотри, внизу блестит река...— неожиданно для себя запел Роберт Петрович.
— О, да вы поете! — сказала Инна Григорьевна.— Только слова в этом романсе не совсем такие.
— Нет, конечно. Я когда был маленький, лет семь, может быть, однажды запел какую-то песенку, сейчас не помню, чтобы показать, как я хорошо пою, своей тетке Анастасии, приехавшей в гости. Только первую фразу пропел, тетка говорит — чего это ты, Робик, блеешь? С тех пор не пою.

— А сейчас, что вас вдохновило? — в тоне Инны Григорьевны слышалась ироничная нотка.

— От избытка чуйств,— стараясь отшутиться, ответил Роберт Петрович.— А вы, Лена, когда начали играть на фортепьяно? В смысле, с какого возраста? Вас заставляли?

— Сначала заставляли. Потом нет. Сейчас сама не могу оторваться от инструмента.

— Вы, Лена... Роберт Петрович запнулся, подбирая нужное слово,— блистательно играете. Вчера, когда вы играли, кажется, Бетховена, я не ошибся? я любовался вашими пальцами. Как можно так быстро бегать пальцами по клавишам!?

— Это не самое трудное. Труднее понять то, что играешь.

В разговорах о музыке вперемежку с медициной вышли на поляну. Там собрались две команды из пассажиров теплохода играть в футбол.

— Врач, иди, играть, — позвал кто-то.

Этот кто-то был Петя, сосед по каюте.

— Я не в форме,— отозвался Роберт Петрович,— в штиблетах,—показывая на ноги.

Ему не хотелось оставлять своих спутниц.

— В воротах постоишь. Можно и в штиблетах,— не унимался сосед.

— Ну, что же вы, доктор, идите поиграйте. Вам, наверное, надоели наши дамские разговоры.

Это говорила Инна Григорьевна. В ее тоне Роберт Петрович почувствовал скрытую неприязнь к себе.

— Так и быть. Иду.

Снял куртку и, передав в руки охотно взявшей ее Лены, влился в команду.

Стоял в воротах на совесть. Вошел в азарт. Отбивал мячи, летевшие в его ворота. Брал мяч, валясь на землю. Подбадривал своих, указывал, кому куда встать, когда назначали угловой его команде. Вел себя как мальчишка.

— Молоток,— говорил не раз подбегавший к нему Петя после удачно взятого неминуемого гола.

Когда матч закончился, Роберт Петрович вернулся к своим спутникам.

— Вспомнил детство золотое,— сказал он Лене и Инне Григорьевне.

Накинул куртку на вспотевшее тело, отряхнул брюки.

— Вы хороший игрок, доктор,— заметила Инна Григорьевна.— Совмещаете медицину и спорт?

То ли это была похвала, то ли — ирония, Роберт Петрович так и не понял.

— Роберт Петрович, в самом деле, хорошо играл.

Это были слова Лены.

Раздались гудки с теплохода. Это означало, что «зеленая стоянка» заканчивается.

Все направились к причалу.

* * *

В Волгограде Инна Григорьевна сказала больно и отказалась от экскурсии на Мамаев курган.

— Вы позвольте мне сопровождать Лену, если она захочет пойти на экскурсию? — спросил Роберт Петрович Инну Григорьевну как можно вежливее.

— Если она не захочет остаться с заболевшей тетей, то позволяю... — был ответ.

— Что вас беспокоит, может, я могу вам помочь, Инна Григорьевна?

— Благодарю. Еще никогда не лечилась у педиатров.

— Мы только туда и обратно. Мы нигде не задержимся,— сказала Лена.

Роберт Петрович не без удовольствия отметил про себя прозвучавшее слово «мы».

Они вышли из каюты и присоединились к пассажирам теплохода, изъявившим желание посетить главную достопримечательность Волгограда.

Экскурсионные автобусы подвезли их к подножью Мамаева кургана. В автобусе и на экскурсии они были вместе. Когда поднимались по лестнице, которая казалась нескончаемой, Лена взяла Роберта Петровича под руку и уже не отпускала ее.

— Мамаев Курган имеет высоту 192 метра над уровнем моря. Скульптура «Родина мать зовет» изваяна знаменитым советским скульптором Евгением Вучетичем и ее высота равна 52 метрам, а длина меча, который она держит в своей руке 33 метра. Итого получается 85 метров.

Экскурсовод, пожилая женщина с усталым лицом, слегка охрипшим голосом скороговоркой говорила текст.

— Наш мемориал в год посещают сотни тысяч экскурсантов нашей страны и из-за рубежа.

Лена слушала внимательно. Роберт Петрович любовался ее слегка покрасневшимся лицом и взглядом, которым она смотрела на все, на что обращала внимание экскурсантов пожилая женщина с уставшим лицом.

— Через месяц наш мемориал отметит десятилетие своего существования. Он был открыт 15 октября 1967 года.

Экскурсия закончилась. Было предложено самим осмотреть мемориал уже без сопровождающего текста.

Они повторили маршрут экскурсии. Особенно долго Лена оставалась перед композицией «Скорбящая мать».

— Какая мелодия вам сейчас слышится?

— Честно сказать, на память ничего соответствующего моменту не приходит.

— А мне — «Грезы» Шумана.

Лена вполголоса стала напевать мелодию. Голос у нее был чистый, мягкий.

— Леночка,— неожиданно для себя Роберт Петрович в первый раз так назвал свою спутницу,— я слушаю музыку, но не всегда запоминаю имя композиторов.

— Как же так. Может быть, и эту мелодию слышали, а имя композитора не помните. Шуман. Кстати, его тоже звали как вас — Роберт...

— Теперь я запомню на всю жизнь, что эту мелодию написал мой тезка Шуман...

— ...австрийский композитор.

— Австрийский композитор,— повторил за ней Роберт Петрович, как ученик за учительницей.

Они спустились в город.

Пассажиров «Николая Гоголя» ждали экскурсионные автобусы.

— Молодые люди, поедете? — спросил шофер одного из автобусов, обращаясь к ним, видя, что Лена и Роберт Петрович не спешат на посадку.

Они посмотрели друг на друга.

— Пожалуй, мы погуляем,— за обоих ответил Роберт Петрович.— Скажите, как добраться до причала?

Они погуляли по городу, посидели в кафе и на подказанном им маршруте автобуса вечером добрались до теплохода.

Роберт Петрович не стал входить в каюту, но через дверь, которую открыл перед Леной, услышал, как Инна Григорьевна недовольно сказала ей — «уже хотела объявлять тебя в розыск».

* * *

От Волгограда поплыли обратно. Плыли быстро, без остановок. Через четыре дня должны быть в Москве.

Роберт Петрович виделся с Леной каждый день. Инна Григорьевна не появлялась. Недомогала. Выходила только в ресторан поесть и сразу уходила в каюту.

— Что с ней? — спрашивал Роберт Петрович.

— То ли дуется, то ли в самом деле плохо себя чувствует,— отвечала Лена.— Я должна была плыть с подругой. Но та уехала в подшефный колхоз с концертной бригадой из наших студентов. А тетя не хотела отпускать меня одну и решила, что с ней мне будет лучше. У нее как раз отпуск выпал на это время.

— Она, наверное, боится за вас. Решила беречь вас от опасных знакомств во время путешествия.

— Разве вы опасный человек?

— Для вас, конечно, нет. Мне приятно проводить время с вами. Я так боялся, что умру со скуки в этом неожиданном «путешествии». Честно сказать, я не хотел *так* проводить свой отпуск. Но теперь не жалею.

— А я наоборот. Мне так нравится плыть на теплоходе, любоваться пейзажами, видеть другие города... Узнавать других людей... Это так интересно. Не люблю сидеть на одном месте. Если стану хорошей пианисткой, буду ездить с концертами по разным странам, городам...

— Я уверен, вы обязательно станете хорошей пианисткой и будете ездить по разным городам и странам с концертами.

Они сидели в шезлонгах на палубе и любовались уплывающими вдаль пейзажами ранней осени. Вечерело. Надвигались сумерки. Берега реки стали видаться смутно.

Кто-то сзади хлопнул его по плечу.

Роберт Петрович обернулся. Это был Петя. Уходя, он подмигнул доктору.

— Кто это? — спросила Лена.

— Сосед по каюте. Помните, который пригласил меня играть в футбол?

— Пойду к тете. Уже поздно. Она будет недовольна. Спасибо вам, что проводите со мной время. Я бы тоже скучала, если бы не познакомилась с вами.

Это прозвучало очень искренно.

Лена сама протянула ему руки.

Роберт Петрович поднял ее из шезлонга и проводил до каюты.

Когда он вернулся к себе, там за столиком у окна сидел Петя. Молодоженов не было.

— Доктор — молоток. Роман закрутил с молоденькой пианисткой,— сказал Петя. — Девочка ничего себе. Вполне.

— У тебя хороший вкус. Разбираешься в девушках,— сказал Роберт Петрович.— Сердцеед?

— У нас на производстве в основном женский персонал. Попадают хорошие. Теряться не приходится... Тут на корабле много наших. Есть даже очень ничего. Ты не замечаешь. Пианистку все свою обхаживаешь.

— За всеми не угонишься,— отшутился Роберт Петрович.

— Ну-ну.

— А ты где работаешь?

— В Орехово-Зуеве. На ткацкой. Слышал?

— Все больше про Иваново слышал. Город невест.

— Мы тоже что-то вроде этого. Хочешь, познакомлю,— предложил Петя.

— С меня одной хватит.

— Ну-ну. Как знаешь.

Петя поднялся на полку.

Роберт Петрович лег на свое место. Включил над головой свет. Стал читать. Чтение подвигалось медленно. За все дни путешествия дошел только до того места, где князь Мятлев, главный герой повествования, был определен корнетом в кавалергардский полк. «Там со всей юношеской страстностью окунулся он в неистовства, принятые в этой среде». Его позабавила детскость проказы, которую он и его полковой

сослуживец проделали с графиней Барановой. Всего-то закутались в белые простыни и до смерти напугали глупую старуху.

Пришли Даша и Миша. Кончились танцы.

— Как вам, понравилось ваше свадебное путешествие? — просил их Роберт Петрович, прервав чтение.

— Да, — сказал Миша.

— Очень. Так здорово! — добавила Даша.

— Мне тоже, — сказал Роберт Петрович.

«А, собственно, чем?» — спросил он себя. «Да так», — ответил себе сам.

* * *

Инна Григорьевна продолжала хандрить. Выходила только к столу и сразу исчезала в каюте. А с нею и Лена. Рука об руку они проходили мимо Роберта Петровича, отвечали на его приветствие коротким кивком головы и, не задерживаясь ни на секунду, уходили. Это повторилось не один раз, и он понял, что ему дана отставка. Кто был ее инициатором, не вызывало сомнения.

«Поэтому она и поплыла с Леной. Побоялась предоставить ее самой себе». Эта мысль показалась Роберту Петровичу самой правдоподобной.

Делать было нечего.

После этого молодому доктору стало по-настоящему скучно в этом путешествии.

До окончания круиза оставалось два дня. Пешеходные круги по теплоходу стали не нужными. В кают-компанию он не заходил. Звуки фортепьяно там уже не раздавались. Один день ему удалось убить чтением «Путешествия».

В тот, последний, вечер накануне прибытия в Москву он читал лежа в каюте. Даша и Миша оттанцовывали последний вечер круиза. Петя находился в возбужденном состоянии, прихорашивался, оделся в самое свое лучшее, что взял с собой в круиз.

— Надо отметить окончание плавания. Иду к своим. Пока, — сказал он и исчез.

Роберт Петрович продолжал читать. Разные мысли мешали сосредоточиться на чтении.

«Лена хорошая девушка. Наивная, искренняя. Вся как на ладони. Откуда такие берутся. Тепличное растение. Лариса другая. Журналист. Много ездит. Много видела. С ней легко и трудно. С Леной легко и не трудно. В институте в основном скучные люди. Молоденькие ординаторши по большей части примитивны, неразвиты. Будущие врачи, причесанные кое-как, в стоптанных туфлях, тупеющие от невероятных нагрузок... Те, что постарше, погрязли в науке. Говорить с ними скучно. Одежды, будто в монашки собрались... Лариса хороша в постели, но, наверное, этого мало... Интересно, Лена что-нибудь понимает в этом деле. Еще ребенок. Впрочем, будущая артистка. Народ чувственный. Но говорить, скорее всего, будет только об искусстве, композиторах. С Ларисой есть, о чем поговорить. Одногодки. Нет, на полгода старше. Это не в счет. Она остроумна, язвительна. Это возбуждает. Яснее видишь свои недостатки. А то думаешь о себе Бог знает что. Она умеет спустить на землю. Это развивает... А Лена?..»

Роберт Петрович засыпал, когда в каюту ворвался Петя.

— Бутылку забыл прихватить. Специально для прощального вечера приготовил. А ты чего киснешь тут один?! Пойдем со мной. Хватит тосковать по своей пианистке. Подумаешь, краля!

Петя был уже явно подшофе.

— Неудобно как-то, — вяло возразил Роберт Петрович.

— Петрович, знаешь, что неудобно?

Роберт Петрович молчал.

— То-то. Значит, знаешь. Нечего интеллигентничать. Вставая, одевайся, пошли.

Доктор повиновался. В самом деле, последний вечер. Один. Куда ни шло.

* * *

Роберт Петрович проснулся очень рано, как всегда с ним бывало, если накануне крепко выпил. Еще было темно. Его попутчики крепко спали на своих полках. Сверху доносился могучий Петин храп. И пары спиртного. Он чувствовал, что и от него исходит тошнотворный дух плохой водки. Казалось, что все качается в каюте, словно на больших волнах. Сердце билось быстро, биение его отдавало в голове болью. «Тахикардия»,— констатировал он.— Наверное, повысилось АД». Он хотел было заснуть, но никак не удавалось. Постепенно вчерашний вечер стал всплывать в его памяти, и когда через некоторое время он всплыл почти весь, угрызения совести, как всегда после попойки, стали особенно обостренными.

А это была именно попойка ...

— Это мой друг. Лучший вратарь всех времен и народов,— представил его Петя.— Между прочим, врач. Столичный.

Его встретили радушно, как встречают в подвыпившей компании нового участника застолья.

Петя распорядился подвинуться и усадил Роберта Петровича рядом с девушкой.

— Это Настя,— сказал он.— А это Роберт Петрович. Можно просто Робик или Боб. Да, доктор?

— Столичную столичному. Штрафную!

Роберт Петрович повиновался.

— Штрафную до дна! Догонять надо.

Пришлось опорожнить всю чайную чашку, в которую была разлита водка.

И пошло-поехало.

Он не помнил всех, кто были за столом. Наверное, их было человек пять или шесть. Может быть, больше.

Роберт Петрович помнил только девушку, которая оказалась с ним рядом. Пока голова еще не замутилась от выпитого, он успел разглядеть ее. Сероглазая, с простым, но приятным лицом. Смешливая.

По мере того, как хмелел, становился все смелее. Стал обнимать ее за плечи, как бы невзначай трогать ее грудь. Она смеялась, как от щекотки, но не отстранялась.

Никто не обращал на них внимания.

Градус попойки поднимался все выше.

Роберт Петрович совсем захмелел.

Бутылки пустели.

— Петя, держи десять. Еще водки,— сказал доктор Пете, сидевшему по другую руку от него, протягивая красную купюру.

— Не надо, хватит уже,— сказала сероглазая девушка, забрала деньги и сунула Роберту Петровичу в карман.

— Где твоя каюта? — заплетающимся языком спросил он.

— А тебе зачем?

— Надо!

Он вспомнил, как взял ее за руку, которую она не отняла, и, обращаясь к застолью, сказал: «Без стука не входить!»

Никто не обратил на них внимания.

В ее каюте они легли рядом, и он стал ее раздевать. Она смеялась, как от щекотки. Позволила ему ласкать свое тело, целовать. Но в главном настойчиво отказала, как не просил ее совсем захмелевший Роберт Петрович.

Как очутился в своей каюте, он не помнил. Наверное, его довел туда Петя. Сейчас все качалось вокруг него. В темноте не было никаких ориентиров, но чувствовал эту

качку всем своим телом. По мере того, как в его памяти всплывали события прошлого вечера, его лицо, и без того горевшее от выпитого, горело еще больше от стыда.

«Как такое могло со мной случиться,— думал Роберт Петрович.— Неужели я такой подонок? В незнакомой компании так напиться. Так пошло вести себя... Может, во всем виновата она?»

В оглушенной алкоголем памяти всплыли строчки, которые он прочел перед тем, как в каюту пришел Петя и затащил его к своим приятелям. Князь Мятлев, «едучи в свое костромское имение, соблазнил молодую розовощековую поповну. Вернее, она его соблазнила. От нее пахло молодостью, рекой и луком».

«Да, это она меня соблазнила. Она!.. — От этой мысли Роберта Петровича покорило.— Ну, и гад же я... Чем от нее пахло? Чем-то очень приятным. Очень приятно пахло ее тело. Так пахнет молодое тело. Как от ребенка... Все-таки она не дала. Было бы совсем гадко, если бы уступила. А так хоть как-то легче. Я не изменил. Ни Лене... Ни Ларисе».

Постепенно каюта наполнялась утренним светом.

Постепенно прояснялась и голова молодого доктора.

* * *

Он не стал ждать, когда проснуться его попутчики. Быстро и тихо, чтобы никого не разбудить, встал, оделся, взял свои вещи и вышел на палубу. Свежий прохладный воздух отрезвил его еще больше.

Когда теплоход пристал и ошвартовался, первым вышел на причал, чтобы никто, особенно Лена с Инной Григорьевной, его не заметили, и направился к входу в Речной вокзал. Там его встретила Лариса. Он торопливо повел ее к выходу.

— Ты чего так торопишься,— спросила она его.

— Осточертел мне это круиз,— сказал он.

3

У входа в метро вспомнил, что еще до того, как совсем опьянел в тот злополучный последний вечер круиза, он, по-джентельменски занимая Настю разговорами, сказал ей, где работает. И даже назвал адрес: «Ну, знаешь, где метро Каширская?»... Вот почему она пришла в надежде встретить его. Вот почему она устремилась к нему, наконец, увидев его, может быть, не первый раз приходя к институту. А он?! Даже не узнал ее. Узнал, но не сразу. Узнал, когда было уже поздно. Где искать ее теперь? В Орехово-Зуево? На ткацкой фабрике?

«Впрочем, это было просто какое-то помрачение сознания. Затмение»,— подумал он.

И эта мысль успокоила его.

ОПЕРАЦИЯ

— Завтра операция,— сказал заведующий отделением.— Придет ваш лечащий врач и все вам расскажет. Не волнуйтесь.

У Сергея Петрович был рак желудка. Диагноз поставили недавно. Болел же он давно. Да все считали врачи, что это хронический гастрит. Когда стал быстро худеть, заволновались, сделали гастроскопию, взяли кусочек желудка на анализ и под микроскопом увидели рак.

И вот теперь предстояла операция.

Сергей Петрович сам был врач, доцент, лет уже тридцать преподавал в медицинском институте хирургию. Что предстояло ему, знал в общих чертах, так как был хи-

ругом урологическим. Из хирургии желудка помнил только то, что осталось со студенческих лет.

Сейчас, лежа в больничной палате, недоумевал, как это сам не догадался, что у него онкология. Да и у кого из врачей, к тому же оперирующих хирургов не болит желудок. Ночные дежурства, многочасовые стояния за операционным столом. Не до еды. Кроме операций студенты. Наспех перекусил, и то хорошо. А что перекусывал? Бутерброды да кофе покрепче. Конечно, сигарета. Курил и ночью. Поступит срочный больной по «скорой», чтобы прогнать туман в голове покуришь, и к операционному столу. А после операции, сядешь в кресло расслабиться, опять сигарета. Иногда при-мешь «на грудь», не без этого. Какой желудок выдержит. Студенты тоже нагрузка. Разные бывают. Иного бы выгнал из клиники и на пушечный выстрел не подпускал. Ан нет. Держат в институте. Какой врач из него получится? Не дай Бог попасть к такому, особенно под нож.

Такие мысли одолевали врача, ставшего пациентом, когда в одноместную палату, которую ему, как коллеге и доценту, предоставил главный врач больницы, вошел человек, молодой, приятной наружности в белом халате поверх зеленой пижамы, в которых оперируют хирурги.

— Сергей Петрович? — сказал он, заглянув в историю болезни, которую держал в руках — Здравствуйте. Я вас буду оперировать завтра. Как настроение?

Голос у молодого хирурга был мягкий, располагающий.

— Э-э, да, вы врач... Доцент... В каком институте? — говорил хирург по мере того, как листал историю болезни.

Сергей Петрович назвал.

— Я кончал этот институт. Семь лет назад. Но хирургии учился не на вашей кафедре. — Он назвал имя известного хирурга, которого хорошо знал Сергей Петрович.

— Хорошая школа, — сказал Сергей Петрович, и у него отлегло от сердца. В первую минуту он насторожился, когда увидел, что оперировать его будет столь молодой врач. — А кто ассистировать вам будет?

— Вы знаете, ординатор второго года. Способный малый. Я с ним уже оперировал. Руки растут из того места, что надо.

«Попал, однако, как кур в ошип», — подумал Сергей Петрович.

— Ну, вам, наверное, не надо объяснять, в чем заключается операция по поводу рака того типа, который у вас. Вы же сами все знаете.

— Нет, потрудитесь объяснить, — строго сказал Сергей Петрович.

Он слышал, но не слушал объяснения.

Его обуревали сомнения. Может быть, сказать заведующему, чтобы оперировать его доверили более опытному хирургу. Ведь почти мальчишка. А с ним еще мальчишка... Удобно ли это? Скажет, ты же молодой учился оперировать. Как говорят — хирургами не рождаются, хирургами становятся. Что ж, скажет, на других пусть учится, а не на тебе? «Где же твоя преподавательская этика?» Эти слова Сергей Петрович сказал самому себе. Скажет, как учишь, так и лечить тебя будут. И ведь возразить нечего. А учим, конечно, не как следует. Уходишь на операцию, а студенты болтаются на лестнице. И так два, а то и три часа, пока операция не кончится. Можно было бы взять их в операционную, да тесно будет. Будут шеи тянуть из-за плеча друг друга да перешептываться. Интересно им, конечно, но так хирургии не научишь. В ординатуре еще можно научить. Так ведь и ординатору не все доверишь. Каждый учится, как может. Один посмотрит и сразу все схватывает. А другой бьется, бьется, а все не получается. Не сразу поймет, что хирургия не его стезя.

Сергей Петрович тяжело вздохнул.

— Не бойтесь, — сказал молодой хирург, видимо, закончив объяснения. — Я такие операции уже делал.

— Сколько? — строго спросил Сергей Петрович.

— Пять.

— Не много.

— Я забыл представиться. Андрей Петрович.— Молодой человек привстал. — Мы с вами тезки по батюшке. Спите спокойно. Не волнуйтесь,— сказал Андрей Петрович, вставая и направляясь к двери.

— И вы спите спокойно, Андрей Петрович, но все-таки немного волнуйтесь. Это говорит о чувстве ответственности хирурга перед операцией. И атлас полистайте на сон грядущей. Полезно не только для молодых хирургов... У вас есть хирургический атлас?

— Нет. Я в интернете посмотрю.

— В интернете,— неодобрительно заметил как бы про себя Сергей Петрович. Молодой врач вышел из палаты.

«Что-то завтра будет»,— подумал Сергей Петрович.

Рано утром пришел заведующий отделением, пожилой человек, с лицом злого курильщика, костисто худым.

— Как настроение?.. Я забыл вам сказать, Сергей Петрович, что оперировать вас будет молодой, но очень перспективный хирург Андрей Петрович. Он недавно защитил кандидатскую по эндоскопической хирургии желудка.

— Будем надеяться, что кандидат окажется на уровне,— тихо сказал Сергей Петрович.

— Не волнуйтесь, голубчик.

— Вы же сами хирург, знаете, что операция всегда дело непредсказуемое.

— Это мы говорим родственникам больного. На всякий случай.

— Все-таки я попрошу вас быть на операции.

— Буду,— заведующий протянул руку, и Сергей Петрович пожал ее холодной от волнения рукой.

Пришла сестра со шприцами. Сделала два укола.

«Премидикация,— отметил про себя Сергей Петрович.— Значит через полчаса придут».

Он встал с кровати и надел зеленую хирургическую пижаму, которую прихватил с собой в больницу.

Эндоскопической техникой он владел и знал ее до тонкостей.

В его голове прошел весь ход операций, делаемых с помощью эндоскопа. Подготовят операционное поле. Сделают два прокола брюшной стенки. В одно отверстие введут эндоскоп, в другое — подсветку. Введут воздух. Далее буду искать этот самый рак. Долго будут искать? Сразу найдут?

На лбу выступил холодный пот.

«Ага, каково в шкуре больного оказаться»,— подумал он.

В палату вошла медсестра, катя перед собой коляску.

— Зачем коляску, я сам дойду,— торопливо сказал Сергей Петрович и встал.

— Такой порядок,— коротко сказал сестра.

«В сам деле, что это я. У нас тоже на операцию везут в коляске. После премедикации голова может закружиться, и шлепнешься»,— пронеслось в его голове.

Он сел, и сестра повезла его по коридору. По коридору ходили «ходячие» больные, медсестры, врачи, и Сергею Петровичу казалось, что все они сочувствуют ему и желают удачи.

В предоперационной он ощутил знакомый острый запах лекарств, йода, нашатырного спирта. Сердце билось учащенно, слегка щемило в левой половине груди. Он нащупал холодными пальцами пульс на левой руке, артерия на запястье совершала какую-то сумасшедшую пляску.

«Что это я так разволновался... Надо взять себя в руки. Неловко перед персоналом. Все знают, что я врач, да еще хирург».

Вспомнилось, как сам, спуская мочу катетером, говорил трясущимся от волнения мужчинам — будьте мужчиной, что это разволновались, как барышня.

С него сняли тапочки, надели бахилы, на голову — привычную хирургическую шапочку и ввели в операционный зал.

За предназначавшемся ему столом стояли два хирурга. Лица были скрыты маской. Сергей Петрович старался угадать, кто из них тот, кто будет его оперировать.

«Вот он, стоит справа от стола. Ассистент — тот, что поменьше, стоит слева. А где заведующий отделением? А где анестезиолог? Он должен быть в головах. Впрочем, какой анестезиолог! Эндоскопическая операция же под местной анестезией делается. Но все-таки должен быть».

Все это пронеслось в голове Сергей Петровича в считанные секунды.

— Должен быть анестезиолог, — сказал он вдруг севшим от волнения голосом.

— Будет, Сергей Петрович. Будет анестезиолог.

В самом деле, в ту же минуту вошел мужчина в зеленой хирургической пижаме и сел за операционный стол в головах.

С Сергея Петровича сняли верхнюю часть пижамы и бережно помогли перебраться с коляски на операционный стол.

Он лег, руки вытянул вдоль туловища и стал стараться думать о чем-нибудь, лишь бы не о том, что сейчас будут делать с его телом.

Сколько операций сделал сам? Много. Некоторые хирурги ведут счет. На юбилеях говорят, наш юбиляр сделал 10 тысяч операций. Спас столько-то тысяч жизней. Положим, кто-то считает. Записывает. А как быть с жизнями? Может быть, он умер через неделю после выписки. Или через месяц... Спас? Конечно, спас, если удалил почку, разорвавшуюся от тяжелой травмы. А спас ли, если провел дробление камня мочевого пузыря? Облегчил жизнь. Не больше. И вообще, хирургов считают чуть ли не богами, совершающими чудеса. Да, хирурги на виду. Заметная специальность. Если бы только знали, сколько волнений и переживаний доставляет каждая операция. Идешь на одно, а оказывается совсем другое. Пот прошибет, пока догадаешься, что делать надо.

Как ни старался Сергей Петрович не думать об операции, все слышал и понимал, что происходит. Вот подействовала анестезия, кожа на животе в двух местах задубела. Чувствовал прикосновение чего-то твердого. «Троакар», — понял он. Троакаром надавили ему на живот, и он непроизвольно напряг мышцы.

— Больной, расслабьтесь, не напрягайте живот, — услышал он голос хирурга.

Сергей Петрович повиновался.

Почувствовал, как инструмент провалился в брюшную полость. Сначала один, потом другой.

— Свет, — произнес кто-то из хирургов.

«Ага, значит, сейчас будут искать рак», — отметил Сергей Петрович.

Поиск затянулся. Через затуманенное премедикацией сознание слышал, как хирурги что-то говорили друг другу встревоженными голосами, но смысл говоримого уже не понимал.

«Буду читать стихи. Надо успокоиться», — решил он.

«Когда я полон нежных дум, не нарушай мое молчанье, мои ответы наобум лишь приведут тебя в отчаянье. Во мне гул чувств моих не стих...».

Сергей Петрович почувствовал резкую боль. Казалось, что кто-то вытягивает из живота кишки.

«...твое напрасно осуждение...»

Стихи не помогали. Боль становилась невыносимой.

Он застонал.

— Потерпите, Сергей Петрович, минутку,— сказал кто-то из хирургов.

— Постараюсь,— простонал он.

«Стихи я писал своей жене, когда мы были молоды, и я увлекался стихосложением. Ей нравилось, и она хотела, чтобы я послал их в журнал. Чудачка. Кому они были нужны, кроме нее. И меня, чтобы показать ей, как я ее люблю».

Боль все нарастала. Сергей Петрович невольно заскрипел зубами.

— Потерпите, дорогой. Потерпите.— Голос у хирурга был встревоженный и раздраженный. Так говорят, когда что-то не получается.

«Потом она умерла. И тоже от рака. Кто оперировал? Не помню. Не вспомню... Кто-то из своих... Значит, и я? Значит, и мне суждено от рака?»

Жгучая боль в животе вспыхнула, как пламя.

— А-а-а! — закричал Сергей Петрович.

— Наркоз! — коротко и властно сказал кто-то.

На лице он ощутил маску. Стало душно. Не хватало воздуха. Он задышал глубоко. Боль притупилась. Была уже не боль, а как будто тяжелый камень положили на его животе. Со всех сторон подступала темнота. Видимый свет становился все меньше, меньше. «Небо с овчинку»,— подумал он.

— Большой, считайте — раз, два, три... дальше... — расслышал он сквозь шум в голове.

Язык заплетался, стал тяжелым.

Послышалось не то пение, не то крик птицы. Потом как бы гул от ударов тяжелым в колокол. Бум — бум — бум... Потом черная-черная труба, он летит в ней, как снаряд, и летит к яркому свету, сверкающему в конце этой черной трубы. Ощущение легкости тела было невыразимое. «Так летит фотон или электрон»,— подумал он. Когда черная труба закончилась, и он вылетел из нее в сверкающий свет, он увидел свое тело, распростертое на операционном столе и склонившихся над ним людей в белом. «Ангелы,— пронеслось в голове — что они делают с моим телом?» Но эта мысль недолго занимала летящего в свете человека. Он увидел себя мальчиком, потом юношей, потом зрелым человеком, и вся жизнь в мельчайших деталях пронеслась перед ним и вызвала чувство неудовлетворенности, сожаления и он подумал: «Как мало радости и счастья выпало на мою долю. Почему, почему, почему?» На этот вопрос он не получил ответа, но тем не менее радость наполнила его сердце, как если бы он в эти мгновения понял, что надо было делать, чтобы быть счастливым. Надо было самому ходить за женой, когда она заболела, а не сожалеть, что ее болезнь отрывает его от работы. Когда понял, что она обречена, не желать втайне скорейшего прекращения ее мук, а терпеть вместе с ней, сострадать. Надо было больше внимания уделять воспитанию своих детей, не перекладывать на жену. Вспомнил о них, только когда защитил диссертацию. Студентов надо было учить как следует, а не считать, что они только путаются под ногами. Надо было интересоваться еще чем-то, кроме хирургии. Ходить в театр, принимать гостей, читать интересные книги. Специальность была как тесная комната о четырех стенах, с маленьким окном во внешний мир. Он редко выглядывал наружу. Надо было бы... надо было бы... Что еще? Любить природу, чаще смотреть на небо. Знать названия звезд и созвездий... Он стремительно полетел вниз. Черная труба поглотила его. Он летел в ней к темноте. Голова стала наливаясь тяжестью, в висках застучало. Радость и легкость, охватившие его в том, светлом, мире, сменились печалью и тревогой.

— Просыпайтесь, Сергей Петрович, просыпайтесь,— услышал он.— Операция закончилась.

Кто-то шлепал его по щеке. Открыл глаза. Над собой он увидел сначала смутно, потом все более отчетливо лицо Андрея Петровича. Оно было без маски.

— Спасибо,— сказал Сергей Петрович слабым, еле слышным голосом.
— Молодцом, Сергей Петрович. Молодцом.
Его бережно перенесли со стола на каталку и повезли в палату.
В палате он уснул. Проснулся под вечер.
«Все. Я жив,— была первая мысль,— а рак? Какой? Его теперь нет?»
— Как самочувствие? — спросил вошедший в палату Андрей Петрович.
— Почему наркоз?
— Долгая история. Расскажу позже.
— И все-таки.
Слабость прошла. К хирургу и доценту вернулась прежняя строгость.
— Сложная анатомическая топография,— уклончиво ответил врач.— Патанатомия будет готова завтра.
— Скажете?
— Обязательно. Отдыхайте.
Патологоанатомический анализ подтвердил наличие рака. Были метастазы и прорастание опухоли в другие органы. Ему не сказали, что операция поэтому была выполнена радикальная. Протекала трудно, с остановкой сердца, реанимационным пособием.
Сергей Петрович быстро шел на поправку. Через семь дней его выписали из больницы на химиотерапию.
Позже, дома он вспомнил, как заведующий отделением, к которому он зашел попроситься и поблагодарить, спросил:
— Ну, уважаемый хирург, каково оказаться на операционном столе?
— Врачу необязательно, но полезно побывать в шкуре пациента.— А про себя подумал: «где я был во время наркоза?».



Станислав Воронин
Людмила Воронина
(г. Тула)



ДЯДЯ КОЛЯ

В середине августа в Тульской области прошли хорошие дожди, и на базаре появились в продаже грибы. Что может быть лучше на обед, чем жареная картошечка с грибами? Представив на столе большую сковородку с этой аппетитной горячей едой, да еще тарелочку с малосольными огурчиками, я сглотнул слюну. Каких грибов купить и сколько? Пару кучек. Нет, лучше пять. Или сразу уж ведро! А зачем вообще покупать? Завтра у меня выходной, беру дядю Колю, садимся на моего «москвича» и едем в Арсеньевский район! Леса там знатные, дядя Коля эти места отлично знает, он оттуда родом, из деревни Песочное. Он часто мне рассказывал, что в этих лесах он как у себя дома, каждое деревце наизусть знает.

Дядя Коля — мой двоюродный дядя. Он военный пенсионер, майор запаса, сейчас работает в политехническом институте заведующим лабораторией на кафедре физики. Большой любитель не только собирать грибы, но и ковыряться в разных железках.

Я и сам уважаю вечерком после работы вскрыть какой-нибудь прибор и посмотреть его внутренности, улучшить схемное решение, попаять. Страсть к радиотехнике у меня с детства. Когда я учился в 8 классе, полностью сам спаял радиоприемник, упаковал его в мыльницу, приспособил алюминиевую лыжную палку вместо антенны. Вышел вечером для испытания во двор. Была зима, мороз, луна ярко светила, и из приемника вдруг полилась музыка, пела группа «Битлз», я тогда впервые их услышал. Состояние было волшебное! Восторг от чудо-техники, гордость за себя, умиление от красоты песни! На следующий день я отнес приемник в школу, и мой учитель физики, Анатолий Иванович, даже хотел отправить его на выставку. Но мне было жалко отдавать его, и я, сославшись на неоконченность своего произведения, оставил приемничек у себя.

А сколько дядя Коля мне отдал из своей лаборатории ненужных деталей, коробок, корпусов и даже приборов!

Вечером я с ним созвонился, собрал тормозок: вареные яйца, сало, хлеб, чай в термосе, и рано утром мы отправились на машине за грибами. Пока ехали (а дорога больше ста километров) дядя Коля рассказывал мне о тех местах: как он хорошо ориентируется в лесу, как он мальчиком постоянно ходил туда собирать грибы, планировал, сколько мы их наберем, и беспокоился, хватит ли нам тары. Мы взяли два ведра и две корзинки. Но есть еще сумка, в которой лежит еда, в конце концов, есть рубашки, которые в крайнем случае можно снять.

Время дороги незаметно прошло в предвкушении приятной и полезной прогулки. Я, по указанию дяди Коли, съехал на проселочную дорогу, и вот перед нами выросла стена леса. Проехав еще немного, мы остановились, взяли ведра. Корзинки пока решили оставить, а потом, придя из разведки, забрали бы и их. Машину закрывать не стали, так как собирались быстро вернуться, оставили в ней еду, и смело вошли в лес.

Лес был очень необычный. Хоть я и вырос в деревне, у нас тоже были леса, но леса светлые и небольшие. А в этом часто росли огромные деревья, стволы по полметра в обхвате, кроны высокие, они наверху смыкались так, что небо едва было видно. К тому же облачная погода добавляла мрака и таинственности. Два раза крутанешься, и уже не знаешь, где ты. Меня охватило тревожное чувство.

— А мы не заблудимся? — спросил я дядю Колю.

— Что ты, Стасик! — бодро ответил он. — Я же тут вырос!

— Давай будем идти в пределах слышимости друг друга, — предложил я на всякий случай, и мы уткнулись взглядами в землю в поисках грибов.

Грибы, как и обещал дядя Коля, стали попадаться. Я шел медленно, заглядывая в укромные места у стволов деревьев, иногда окликая его. Дядя Коля же стремительно продвигался в глубь леса, зная, что там грибов должно быть больше.

— Дядь Коль! — крикнул я. — Куда ж ты бежишь?

— Стасик! Да разве здесь грибы?

— Нормально попадаются.

— Ты настоящих грибов еще не видел! Подальше надо уйти.

— Ну тогда мы точно заблудимся! Давай теперь передвигаться в пределах видимости, — с нарастающим беспокойством предложил я, с трудом догнав дядю Колю. — Вот в какой стороне находится наша машина? — решил я проверить его.

— Вон там, — уверенно показал дядя Коля.

— Этого не может быть, она в противоположной стороне!

— Точно тебе говорю, я же здесь все знаю! — не сдавался дядя Коля.

— Для спокойствия давай проверим, вернемся к машине, пока не ушли очень далеко.

Дядя Коля неохотно согласился, и мы отправились в направлении, уверенно указанном дядей Колей. Грибы собирать перестали, так как шли быстро, не отвлекаясь, ожидая выйти на знакомую опушку к машине. Но ее все не было. Шли около часа, а лес все не кончался.

— Ну, что? — спросил я дядю Колю, ощущая холодок на спине.

— Да, Стасик. Наверное, мы все-таки блуданули! — признался дядя Коля.

Мы остановились, чтобы принять какое-нибудь решение.

— У нас один с кафедры тут три дня ходил, потом вышел около Белева, — неловко попытался успокоить меня дядя Коля. — Так что дня через три точно выйдем!

— Жаль, еду и воду оставили в машине, — заметил я.

— Не волнуйся, сейчас выйдем, я же тут все знаю! Надо идти сюда, точно тебе говорю, — после некоторого раздумья заключил дядя Коля.

Мне ничего не оставалось, как довериться ему, и мы опять пошли к машине, но уже не так быстро, а пытаясь запомнить дорогу, обращая внимание на ее отдельные детали. Шли долго, часа два. Лес не кончался. И вдруг одновременно, с неприятным удивлением, мы устали на консервную банку из-под желтой краски, выброшенную лесниками, которые помечали квартальные столбики. Эту банку мы уже видели сегодня. Теперь мы оба поняли, что ходили по кругу и окончательно заблудились. Ну, воду, мы допустим, найдем. А вот еду... Три дня на коре деревьев не продержаться.

— При такой тактике за три дня мы отсюда не выберемся, — сказал я. — Надо как-то сориентироваться.

Мы попытались это сделать. Но солнце не светило, было пасмурно. Деревья поросли мхом одинаково со всех сторон. Компаса, конечно, с собой не было, ведь дядя Коля так хорошо знал эти места! Так что ориентирования на местности не получилось. Хоть бы одного живого человека встретить! Мы стали осматриваться вокруг себя и обнаружили что-то вроде звериной тропы, едва заметной среди одинаковых

деревьев, кустов и травы. Решили идти по ней. Грибы, ради которых были здесь, мы из ведер выбросили, чтобы легче было идти. Мы уже успели устать. Мне было жаль дядю Колю, обутого в тяжелые резиновые сапоги, я был экипирован полегче, на ногах были кроссовки. Мы не ошиблись, это была действительно звериная тропа. Нам то и дело попадались горки свежей земли, разрытой кабанами, которые добывали себе разные корни для пропитания и прошли здесь только что. Где-то очень близко заревел лось, затрещали сухие ветки.

— Боюсь, ночевать нам придется на дереве, — отреагировал я.

— Не горюй, Стасик, сейчас выйдем! — успокоил меня знаток здешнего леса.

Кроме пустых ведер, у меня был с собой нож. Дядя Коля удивился, увидав его.

— Это не нож, а маленькая турецкая сабля! Очень необычный нож, — сказал дядя Коля, разглядывая мое оружие.

А нож действительно был необычный. Чтобы скоротать время пути, я стал рассказывать о нем. Однажды я оказался дома у Гены, брата моего друга Юрия. Гена работал на радиозаводе, коллекционировал ножи, сам их делал. Ножей, очень разных, у него было около тридцати. Я восхитился ими и попросил отдать мне как раз этот нож. Гена наотрез отказался.

— Да это самый лучший мой нож! Сделан из рессорной стали по специальному шаблону. Очень прочный, гибкий, никогда не сломается!

Я стал пробовать нож на гибкость. Действительно так. Но вдруг рукоятка, вероятно, плохо склепанная, разлетелась на две половинки, лезвие упало с тонким звоном на пол. Чтобы загладить свою оплошность, я сбегал в магазин за бутылкой, и мы сели за стол сообразить на троих. После первого стаканчика Гена расщедрился.

— Раз уж ты сломал мой нож, забирай его себе! — распорядился он.

Мы еще посидели немного. Когда я пришел домой, стал разглядывать подарок и приложил лезвие к ладони. Вдруг оно завибрировало и порезало мне палец. Я до сих пор не могу найти никакого объяснения этому. Может быть, таким образом он поместил своего нового хозяина? Потом я вырезал ему красивую рукоятку из полированной фанеры, соединил медными заклепками, на одну сторону приладил маленькую металлическую бляшку от импортных джинсов. Получилось элегантно и фирменно. Теперь я нес этот самый ножик на грибную охоту.

По звериной тропе шли еще больше часа. Грибы нас уже давно не интересовали. Вдали показалось светлое пятно, оно увеличивалось, и вот, к великой нашей радости, мы вышли на большую поляну.

Посреди поляны мы увидели два врытых в землю столба, прибитые к ним перекладыны, на которых были развешаны липовые веники для лосей под крышей домиком. Сооружение было кормушкой. На нижней полочке лежали огромные куски соли-лизунца.

— Ведь как-то сюда люди приезжали, — с надеждой предположил я.

При детальном осмотрении оказалось, что веники висят здесь очень давно, около месяца, кругом все заросло травой, даже лоси сюда не приходили. Определить, откуда приезжали люди, было невозможно. К кормушке сходились несколько плохо различимых тропинок. Мы стали размышлять вслух. Нам надо выбрать самую широкую из них, потому что по ней могла проехать телега или машина с вениками и солью, и идти по ней, никуда не сворачивая.

Так и сделали. Пошли по выбранной дорожке и шли еще почти час. Меня поражало — ведь я часто ходил раньше за грибами, — что здесь почти за целый день нам не встретился ни один человек! Только разрытая кабанами земля, лосиный рев, кормушка, да консервная банка из-под краски — скромные следы пребывания живого существа.

Мы спустились в овраг и увидели небольшой ручей. Решили, что надо идти по

его течению, он может привести нас к речке, а там наверняка есть какой-нибудь населенный пункт. Но, не сделав и двух шагов, мы застыли: на другой стороне оврага у ручья похрюкивала кабанья семья. Они, по-видимому, пришли на водопой. Нас они не заметили, так как мы подошли к ним с подветренной стороны. Идти вдоль ручья не получилось. Тем более, что там коряги все равно помешали бы нам. Ничего не оставалось, как пересечь ручей и продолжить путь по старой дорожке.

Поднявшись из оврага наверх, мы оказались в таком месте, где проходила линия обороны во время Великой Отечественной войны. Мы насчитали около десяти квадратных углублений, размером три на три метра, в которых, наверное, стояли наши орудия.

Я вспомнил рассказ своей бабушки, Александры Афанасьевны, о тех днях, когда наши бойцы держали оборону в этих местах. Она жила тогда в Аранах, и в их доме расположился наблюдательный пункт. Деревня Араны и то место обороны, на которое мы случайно попали в лесу, составляли одну и ту же оборонительную линию. Командир, смотревший за передвижением немцев, то и дело говорил бабушке, чтобы она перешла то в один угол дома, то в другой, чтобы уберечь ее от возможных снарядов, выпущенных врагом. Наверное, много солдат погибло в этих местах. Дядя Коля не разрешил мне изучать окрестности и разгребать руками листву. С тех времен осталось множество неразорвавшихся снарядов и мин. Мы постояли несколько минут молча, почтив память погибших здесь солдат, и пошли дальше.

И вот закончился темный, дремучий лес, и мы вздохнули с облегчением, оказавшись в светлом, уютном березнячке. Идти стало легче. Под ногами расстилался обширный ягодник. Ягоды уже сошли.

— Надо запомнить это место, приедем на следующий год сюда за ягодами,— заметил дядя Коля.

— Правда, они нам будут не нужны, как и грибы, за которыми мы в этом году приехали,— не согласился я.

Наша дорожка вывела нас на поляну, где был сведенный лес, уложенный в штабеля. Появилась надежда встретить кого-нибудь. Но когда мы присмотрелись к поляне, поняли, что люди были здесь очень давно, все поросло высокой травой, береста спеленных деревьев успела отслоиться, и надежда наша тихо растаяла. Но пользу от этой вырубки все-таки мы извлекли. Валить лес сюда приезжали хоть и давно, но на спецтехнике, от которой осталась заросшая колея. По ней мы и продолжили свой путь.

Дорожка вела нас вниз. Вскоре мы увидели столбик с надписью «Манаинское лесничество». Дядя Коля не утерпел и ругнулся:

— Мы ушли очень далеко, отклонились километров на пятнадцать!

Но другого выхода не было, надо было идти вперед по следу, проложенному трактором. Времени было три часа дня. То есть мы бродили уже семь часов! Меня не радовала перспектива ночевки в лесу, и я предложил прибавить шагу. Нам так хотелось выбраться отсюда, что мы даже забыли о еде, оставленной в машине.

Со скоростью мы ворвались на большую поляну. Земля была вспахана, зеленели озимые. На другой стороне стоял легковой автомобиль, «жигули» третьей модели. Мы чуть не бегом кинулись к нему, спотыкаясь о куски земли. Сюда ведь как-то приехали люди? Значит, они смогут объяснить, как нам добраться до нашей машины! Но, увы, «жигуль» стоял закрытый, никого рядом не было. Мы стали кричать, свистеть, звать хозяев. Но все было впустую, никто не откликнулся. Побегав вокруг него минут пятнадцать, мы поняли, что поддержать нас некому.

— Наверное, блуданули, как и мы,— посочувствовал толи им, толи нам дядя Коля. — Может быть, они сейчас так же кричат около нашей машины?

Теперь мы пошли по следу чужой машины, он хорошо вырисовывался на песчаной почве. Минут через двадцать мы наконец-то вышли из леса! На опушке стоял

живой человек! Женщина пасла овец! Дядя Коля узнал ее, но забыл, откуда она и как зовут.

— Пойди к ней спросить, где мы,— попросил меня дядя Коля.

— Зачем я-то пойду? — удивился я. — Она будет мне объяснять, а я не сумею сориентироваться, названий мест никаких не знаю, ничего не пойму.

— Да я боюсь, она меня тоже узнает. Неудобно, сам из этих мест и заблудился. Поднимет меня на смех!

— Может, и не узнает. Ты уже лет сорок тут не был.

Еще немного поторговавшись, кому идти, решили пойти вместе. Женщина объяснила, что мы ушли очень далеко. Показала, куда идти, если через лес, то километров восемь, а по опушке — больше пятнадцати километров.

— Хорошо, она меня не узнала! — сказал дядя Коля, когда мы отошли, и поднял повыше козырек на спортивной шапочке, которым прикрывался от своей землячки.— Пошли через лес, все-таки в два раза короче.

— Нет уж! Я лесом сыт по горло! Пойдем по опушке, дольше, зато наверняка,— ноотрез отказался я от предложения дяди Коли.

— Стасик! Да я теперь-то дорогу знаю! Все вспомнил, я же тут вырос! Не заблудимся,— настаивал дядя Коля.

— Нет, только опушкой! — не поддался я на уговоры.

И мы пошли по опушке. Только сейчас, когда спало напряжение, и мы знали, куда идти, почувствовалась усталость. Мы еле передвигали ноги. Пустые ведра казались очень тяжелыми, нам хотелось выбросить и их, но было жалко. Про сбор грибов не могло быть и речи! Хотя их попадалось очень много, и мы то и дело сбивали их ногами. В половине восьмого мы вышли к нашей машине! Она одиноко стояла в том же состоянии, в котором мы ее оставили. Никто не подходил к ней весь день. Плюхнувшись на сиденье, вытянув гудящие ноги, минут десять молча приходили в себя. Потом засуетились, достали тормозки, поели, попили. В голове еще проносились тревоги пережитого дня, перед глазами все еще мелькал лес. Чтобы было удобнее сидеть, я поставил ноги на землю, и чуть не раздавил огромный белый гриб. Посмотрев рядом, я обнаружил целое их семейство. Мы, похаживая вокруг машины, быстро набрали два ведра и две корзинки грибов. Теперь не стыдно было возвращаться домой.

— Я же говорил, что грибов наберем видимо-невидимо! — похвастался дядя Коля.

В Тулу приехали часов в одиннадцать. Во сне, кроме грибов, нам снились звериные тропы, сведенный лес и кабаны.



Геннадий Маркин
(г. Щекино)



МАРФИНА ШАХТА

Геннадий Маркин — лауреат литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова за 2008 год, учрежденной нашим журналом.

В ту давнюю пору благодаря таким заводчикам, какими были Никита Антуфьев-Демидов, Розенбуш, Виниус, Россия все больше и больше познавала тонкости железнорудного, кузнечного и чугунолитейного дела.

В окрестностях Тулы вставали в строй новые заводы, на которых для армии отливали бомбы, ядра, картечи. Железную руду для заводов добывали под Дедиловом, а позднее и в других местах, где она была обнаружена. Одним из таких мест была деревня Щекино. Прохор Никишка выкапывая как-то из земли глину для обмазывания печной трубы, наткнулся на железную руду. Вскоре заложили шахту-дудку, а когда были обнаружены еще несколько залежей руды, все мужики из близлежащих деревень стали рудокопами. Щекинская руда имела очень хорошие химические свойства и, как сказали бы сегодня, быстро вытеснила с рынка сбыта дедиловскую.

Прошли годы. Ушли из жизни многие заводчики-первопроходцы, среди которых был и Никита Демидов. Ушел в мир иной и Прохор Никишка, но заводы, а вместе с ними и рудодобывающее дело, остались. Руду на заводы вывозили по воде, а зимой — по застывшим руслам рек на подводах. С появлением на Руси железных дорог ее стали доставлять на близлежащие от шахт-дудок железнодорожные станции, где перегружали в небольшие вагоны и по железной дороге направляли на чугунолитейные заводы. Владельцем Ясенковских и Колпнянских копий стало товарищество братьев Гиль, а начальником Щекинских рудокопных дудок был назначен Николай Константинович Воропаев.

Щекинскую руду в сопровождении потомка Прохора Никишки — Пафнутия Игнатьевича Никишина на подводах отвозили на железнодорожную станцию Ясенки, где начальник станции личный почетный гражданин мещанин Александр Николаевич Чернов вручал Пафнутию грамоту, в которой указывалось количество отправленных вагонов, а в листе сопровождения грузов для заводчиков писал: «Руда щекинская».

Так продолжалось несколько лет, и вот однажды система доставки на заводы руды дала сбой. В один прекрасный день из Тулы в Ясенки на одноконке было доставлено распоряжение за подписью письмоводителя, губернского секретаря Ильи Александровича Миноранского. Распоряжение обязывало всех начальников железнодорожных станций в листе сопровождения грузов отныне именовать грузы по названию той станции, с которой эти грузы отправлялись. Так вместо привычной записи «Руда щекинская» впервые в документах появилась запись: «Руда ясенковская». Заводчики руду не приняли, пояснив, что им нужна руда щекинская, а не ясенковская и вагоны с рудой возвратились на станцию Ясенки.

Опечалившись из-за такого неприятного известия Пафнутий Никишин мял в руках кепку, и с надеждой смотрел в глаза начальнику станции Ясенки Чернову.

— Александр Николаевич поделайте же что-нибудь! Ведь вагоны с рудой простаивают!

Чернов достал из кармана кисет с нюхательным табаком, и раскрыв его отсыпал щепотку табака себе на ладонь, после чего заложил эту щепотку себе в нос.

— Ничего-с, сударь, не могу поделать, на сей счет, имеется распоряжение-с! — ответил он Пафнутию, с наслаждением прикрывая глаза собираясь чихнуть.— Попробуйте обратиться к самому Александру Иванычу! — предложил он Пафнутию.— Александр Иваныч — это ого-го-с! Великая сила-с! — при этих словах Чернов чихнул и многозначительно поднял вверх указательный палец.

К уездному предводителю дворянства действительному статскому советнику Александру Ивановичу Полякову начальник рудокопных дудок Воропаев выехал самолично и уже к обеду был в Крапивне.

— Ваше Превосходительство, Александр Иванович, помогите, Христа ради,— трепетал перед чиновником Воропаев,— век благодарен буду.

— Чего же ты от меня хочешь, милейший? — спрашивал Поляков.

— Так ведь теперь заводчики руду не принимают, говорят, она не щекинская, а ясенковская.

— Сие распоряжение отменить не в силах,— расстегнув тесный ворот темно-зеленого мундира, с сожалением в голосе ответил статский советник.

Уйдя от Полякова, Воропаев бесцельно бродил по Крапивне, пока в центре города недалеко от Никольского Храма случайно не повстречал своего старого знакомого — начальника Крапивенского обозного завода Никиту Фроловича Григорьева и не рассказал ему о своей беде.

— А я вижу, хмур ты больно, не иначе, думаю, случилось чего,— засмеялся Григорьев.— А знаешь ли ты, братец, почему в Крапивне нет чугунной дороги? Да потому, что если она была бы, то все в Крапивну приезжали бы непременно в вагонах, и мои кареты с повозками стали бы непотребны. Поэтому я сделал все возможное, чтобы чугунная дорога от Ясенок, минуя Крапивну, пошла на Сергевское. Ты вот что, братец, собери-ка подарочек в тысячу рублей и привези мне. У меня знакомые столоначальники аж в самом Тульском губернском правлении сидят. Ужо они-то отменят это распоряжение.

Воропаев сделал так, как ему велел Григорьев, но распоряжение не отменили, зато изменили название станции Ясенки. Теперь она стала называться станцией Щекино.

— Ну, что я вам говорил? Александр Иваныч всегда-с поможет! Никому-с не откажет! — проговорил начальник теперь уже станции Щекино Чернов радостному Пафнутию Никишину, держа в руке чернильное перо для подписи сопроводительного листа на грузы и грамоты. Другой рукой он неспешно заложил в нос щепотку нюхательного табака и с шумом вдохнул ее в себя. Немного посидев с закрытыми глазами, Чернов громко чихнул,— Апчх-х-х!

— Александр Николаевич, любезный вы мой, подписывайте скорее,— торопил его Пафнутий.

— Это мы мигом, это мы одним махом,— закивал головой Чернов.— Александр Иваныч, каков-с? Великая сила-с! — проговорил Чернов и поднял вверх указательный палец.

— Александр Николаевич, любезный! — Пафнутий пододвинул грамоту ближе к Чернову.

— Это мы мигом,— вновь повторил Чернов, но вместо этого медленно сунул руку в карман брюк и, достав оттуда носовой платок, принялся вытирать им выступившие от нюхательного табака слезы и приглаживать им свою аккуратенькую бород-

ку.— Вы, Пафнутий Игнатич, должны поблагодарить Александра Иваныча за оказанную вам любезность,— проговорил Чернов.

— Непременно Александр Николаевич, непременно. Подписывайте скорее, ну же!

— Да это мы одним махом! Вы, любезнейший мой, если Александра Иваныча повстречаете, то передайте от меня низкий поклон. И еще спросите у него, не соизволит ли его превосходительство заехать ко мне в гости на летнюю Николу?

Пафнутий закивал головой и стал указывать на лежавшие перед Черновым документы.

— Александр Николаевич, грамота! Бога ради, Александр Николаевич!

— Да, да, это мы одним мигом! — проговорил Чернов и, убрав платок, еще раз обмакнул в чернильницу гусиное перо, после чего дрожащей рукой написал: «Руда щекинская».

Обрадовавшийся Пафнутий положил грамоту в карман сюртука и радостный возвратился в деревню Щекино, где его с нетерпением ожидали рудокопы. Узнав о том, что руду отгрузили заводчикам, они обрадовались и с новой силой принялись за работу. Отгрузка руды обещала им скорую выплату жалования.

Матвей Агафонович Орлов в шахте на глубине почти десяти метров долбил киркой руду и закидывал ее в плетеную из лозы большую корзину. Наполнив ее, дергал цепь, и стоявший наверху его напарник Николай Володин вручную вытаскивал корзину из шахты. Поздно вечером рудокопы возвратились домой. Поев брюквы с квасом, Матвей взобрался на лежанку и уснул. Его среди ночи разбудили стоны и крики жены.

— Ой, Матвеша! Ой, родненький! Ой, рожаю!

Матвей слез с лежанки, зажег керосиновую лампу и растолкал спящего старшего сына, десятилетнего Егора.

— Егорка, быстро беги к Пафнутию Никишину, скажи: мамка разродиться не может, тату просил кобылу дать за повитухой в соседнюю деревню съездить,— говорил Матвей еще не окончательно проснувшемуся сыну.— Та ну, живо ты! — отвесил он мальчишке подзатыльник, и тот мигом вылетел в сени.

Марфа Осиповна Промышляева роды принимала уже не один десяток лет. Этому ремеслу ее научила мать, а ту — ее мать. Своих собственных детей у Марфы не было, зато чужих через свои руки она пропустила не один десяток. Марфа слыла мастерицей своего дела, но был у нее один недостаток: любила после принятия родов выпить рюмочку-другую. «Чтобы пуповина не развязалась»,— проговаривала она и опрокидывала штоф с водкой. Случалось, счастливый отец поил ее до такой степени, что она здесь же рядом с роженицей и засыпала. А иной раз уйдет пьяная домой, а проснется где-нибудь под забором или в кустах густо разросшейся крапивы.

В ту ночь у Матвея Орлова родился сын, и он на радостях напоил Марфу так, что она с трудом держалась на ногах. Однако на предложение остаться переночевать отказалась и решила добираться домой в соседнюю деревню пешком. Выйдя на улицу, Марфа с трудом увидела дорогу, хотя ночь была звездной и в небе ярко светила луна. От хорошего настроения ей захотелось петь, и она затянула старую казацкую песню об удалом атамане Стеньке Разине. Когда ее песенный репертуар был исчерпан, она остановилась и огляделась. При лунном свете она увидела изгородь, коновязь, две лошадиные повозки и колодец с большим барабаном и намотанной на него цепью.

— Это куды ж я пришла-то? — спросила она саму себя.— Это я около дома Васьки Окуня оказалась.

Подошла ближе к колодцу.

— Конечно, это возле яво избы колодец-то.

Марфа повернулась, чтобы уйти, но не удержала равновесия и, перевалившись

через бревенчатый выступ, упала в колодез. Вскоре она пришла в себя. Сильно болевала нога и голова. Хмель у нее прошел, и она со страхом ощупывала руками вокруг себя. Всюду была холодная сырая земля, было темно. Марфа с ужасом подумала, что она заживо погребена, и от страха закричала диким голосом, зовя кого-нибудь на помощь. Кричала она довольно долго и вскоре охрипла. Тяжело вздохнув, Марфа перестала кричать и смирилась со своей участью.

Где-то далеко на востоке забрезжил рассвет. В пойме реки стелился утренний туман. Природа еще не проснулась, а в деревне уже вовсю запели первые петухи. Поеживаясь от утренней прохлады, из своих изб вышли рудокопы и неспешно, позевывая на ходу, направились к своим шахтам-дудкам.

У Матвея Орлова из-за рождения сына было хорошее настроение, хотя он всю ночь не сомкнул глаз. В этот день ему предстояло работать на поверхности, и он покрепче привязал к цепи доску-сиденье, с грохотом завертел барабан, и его напарник Николай Володин скрылся в земляном чреве.

Сидевшая на дне шахты Марфа, услышав барабанный грохот и звон цепи, подняла голову и в темноте едва различила силуэт спускавшегося к ней человека. От радости ее сердце забилося сильнее, на глаза навернулись слезы: ее искали и вот теперь спускаются, чтобы спасти. Вот он, ее спаситель, все ближе и ближе. Она ползком двинулась ему навстречу и как только ноги Николая коснулись дна шахты, Марфа обхватила его и с силой прижала к себе.

— Милый ты мой! Наконец-то я тебя дождалась! — охрипшим голосом проговорила она.

Николай выпустил из рук цепь и кулем свалился на Марфу, как-то неестественно запрокинув голову. Поняв, что произошло, Марфа вместо крика издала лишь хриплое шипение.

Матвей Орлов, не дождавшись привычного подергивания цепи, что было подтверждением спуска в шахту, сам стал дергать цепь, а затем кричать в зияющую чернотой дыру, зовя Николая.

— Наверное, рудничный газ появился,— высказал предположение один из рудокопов, когда все собрались у шахты.

Прибежал Пафнутий Никишин.

— Орлов, возьми рудничную лампу и спустись в шахту, посмотри, что там случилось,— приказал он.

— Пафнутий Игнатич, отец родной, не губи,— взмолился Орлов.— У меня детки малые, жинка нынче ночью еще одного мальчика родила, не губи, отец...

— Цыть! — прикрикнул на Матвея Пафнутий.— Лезь, сказал, или в арестантскую захотел?

Орлов дрожащей рукой взял протянутую ему рудничную лампу со слегка тлеющим фитильком, мысленно простился с женой и детишками и, сняв шапку, трижды перекрестился.

— Господи! Помилуй раба твоего Матвея Агафоныча,— проговорил он и уселся на доску.

Боясь дышать полной грудью, чтобы не вдохнуть смертельный газ, Матвей вглядывался в темноту. Вдруг он отчетливо увидел лежавшего на дне и не подававшего признаков жизни Николая, а из-под него выглядывало непонятное существо с растрепанными седыми волосами. У существа было черное морщинистое лицо с безумным взглядом в глазах и оскаленный рот с редкими зубами. Оно протягивало к Матвею руки и хрипело.

— А-а-а! — закричал Матвей и с силой стал дергать за цепь.— Братцы, спасите!

Когда его вытащили на поверхность, он со страхом рассказал о том, что видел в шахте. Нашлись все-таки смельчаки, которые спустились в шахту и вначале мертвого

Николая Володина, а затем Марфу, при появлении которой многие рудокопы в страхе попятились.

— Так это же Марфушка! — произнес кто-то, узнав Марфу.

— Какая Марфушка? — спросил Никишин.

— Марфа — повитуха из соседней деревни.

Матвей тоже подошел к Марфе и пригляделся.

— Точно, она. Братцы, я ее нынче ночью привозил. У меня жинка рожала, вот я сына Егорку за нею и посылал.

Увидев Матвея, Марфа замахала руками и начала издавать какие-то хриплые звуки.

— Что она шепчет? — спросил Никишин, обращаясь ко всем.

— Поет, Пафнутий Игнатич, — ответил один из рудокопов.

— Поет? Гм, похоже, умом тронулась. Вот что, Орлов, бери мерина и вези ее в Ломинцево в больницу. Сдашь ее дохтору, а потом поедешь в Ясенки и найдешь там волостного старшину; скажешь ему, что у нас рудокоп помер, видать, со страху, бедняга, — вздохнул Пафнутий Никишин и, сняв кепку, перекрестился.

Марфу усадили в повозку, укутали в дерюгу и повезли в больницу. Всю дорогу она что-то шептала и смеялась. Надувала щеки, поднимала к небу руки и потрясала кулаками, будто угрожая кому-то только ей одной известной страшной карой. А шахту-дудку после этого случая стали называть — Марфина шахта.



Николай Смирнов
(г. Новомосковск)

ЦИКЛ РАСКАЗОВ



ВАРАКША

Если вы захотите из любопытства заглянуть на мою родину, убедительно прошу вас этого не делать. Дорог к нам никаких нет. Люди, как и тысячи лет назад, ездят и ходят просто по земле, по лесам и болотам. В райцентре Шабалино любой шофер охотно согласится подкинуть вас и до Котельнича, и до самой Вятки, и даже до Костромы, но если вы заикнетесь о Варакше, он только смачно сплюнет да пятиэтажно выругается. Правда, иногда в случае крайней нужды в район посылают леснического шофера Ваську Достовалова на допотопном, давно списанном «Газоне». Но бывает это крайне редко. Да и Васька для храбрости вусмерть напивается и пока держится за баранку — едет. Но если машина заглохла и надо вылезать с кривой заводной ручкой, то тут же и падает, как убитый.

— Васька, черт! — кричу ему однажды. — Как же ты едешь эдакой пьянехонький?

А он хохочет:

— Да ты глянь, Колька, глянь! Разве можно по эдаким бучилам тверезовому ездить! А залешь шары-то и катишь, как по американскому автобану.

Варакша наша расположена большим треугольником на стыке трех областей, что безусловно было удобно разбойникам, от которых и пошел наш буйный народ. Некоторые историки, конечно, в этом сомневаются, но лично я охотно верю. У нас даже в бабах до сих пор бушует эта разбойничья кровь. В других местах они всегда стараются разнять драку, а у нас наоборот: сами становятся плечом к плечу с мужиками и бьются до потери сознания хоть с ветлугаями, хоть с ветченятами, хоть с костромичами.

До революции на Варакше насчитывалось полсотни лесных деревушек, починков и хуторов со столицей в селе Атаманово: Колодешники, Трясуны, Мякинники, Сыроеды, Лапотники, Сутяжники, Чашебники, Мудозвоны, Гончары, Гужеды — эти названия говорят сами за себя. Другие же населенные пункты требуют некоторых пояснений.

Челобитники — эти всю жизнь молятся. Корова отелилась — молятся, картошку градом побилло — молятся, дом загорелся — все равно молятся вместо того, чтобы тушить.

Шампиньонщики. Эти когда-то ходили на сплав до Нижнего Новгорода. Там после расчета забрели в ресторан и, поскольку грибы в наших местах ничего не стоят, в целях экономии на закуску и потребовали грибов. И шампиньоны им так понравились, что они съели все, что были в ресторане, а потом, когда им предъявили счет, у них и заработанных денег не хватило.

Собашники. Испокон веку разводят и продают собак. Даже картошку не сажают:

не говоря уже о какой-нибудь полезной скотине. По праздникам связывают этих собак за хвосты и наблюдают, чей конец деревни перетянет. На эти соревнования сбегалась вся Варакша. Кончались они также, как и теперешний футбол — дракой.

Простодырники — эти говорят, верили всему, что услышат, как нынешний электорат. Если им говорили, что африканские негры напали на Россию, они тут же являлись в Атаманово во всеоружии: с сулебами, пищалями, кистенями и ружьями. Если им говорили, что в ихний починок на днях приедет митрополит, тут же принимались белить печи, выметать мусор из часовни и застилать улицу половиками.

Балабольщики. Ну, эти, если бы сохранились, вполне могли заменить всех наших юмористов, а ихний староста вполне мог по болтовне потягаться с самим Жириновским.

Трясуны — в отличие от простодырников решительно ни с кем не хотели воевать и перед мобилизацией всегда прокалывали уши спицами, отчего многих и трясло...

И, наконец — Голожопники. Его жители снимали штаны, по пояс заходили в болото и ждали когда присосутся пиявки. Потом вылезали на сухое место, отдирали этих пиявок, складывали в стеклянные банки и увозили на Ветлугу, или в Кострому в аптеки.

Но, несмотря на такое множество селений, у нас на Варакше все родня. В какой-нибудь вятской или костромской деревне на тебя и внимания не обратят. Но как только ты пересек границу и ступил в варакшинский хутор, или починок, встречная остроглазая бабка тут же взглянется в твое лицо, словно художник в картину большого мастера и, всплеснув руками, воскликнет:

— Ба-атюшки! Да ведь это Бадеренков внук! Погли-ко глазом-то так и стригает, так и стригает, будто цыган али мазурик какой... Ну, дак заходи, заходи, покормлю чево бох послал...

Или:

— Матушки мои! Никак Хохряченок к матке в Атаманово правится. Глянь-ко, Параня, вся статья Митрея Захарова и походка дедова. Жива ли Хохрячиха-то? Ежели жива, дак передай-ко ей медвежей желчи. Уж больно она ее просила, когда я в Атаманово-то ходила...

И ни одну нашу бабку не смутит ни модный костюм, ни прическа, ни даже то, что родился ты даже где-нибудь поза Варакшей.

Были у нас и такие селения, где народ говорил на таком древнем, закомуристом языке, в котором посторонний человек и половины слов не поймет. Бывало, спросишь меду у какой-нибудь бабки:

— А кма ли тебе надо меду-то? — спрашивает она.

— Ну, давай хоть полкмы,— в шутку отвечаешь ты.

Бабка удивленно таращит глаза.

— А сколько это — полкмы-то?

— А кма сколько?

Наконец бабка соображает, что перед ней не кто иной, как настоящий варакшенок и просто разыгрывает ее, и возмущается:

— Еще и изгаляется над старухой. Иди, лешов дьявол, и за деньги не дам!

Если посмотреть на карту, то у нас можно обнаружить всего два-три крупных селения. Остальные не числились нигде. Землеустроители неоднократно пытались нанести их на «планты», но безуспешно. Одна такая экспедиция заблудилась, и ее до сих пор не найдут, вторую лесник Онуфрий завел, как Иван Сусанин, в гиблые Обабошные болота. А третья опять же заблудилась и, донельзя отошавшие, обросшие диким волосом участники ее вышли куда-то к Ветлуге...

После революции отдельные активисты начали было крушить хутора, но их вскоре перестреляли. Постреляли и несколько присланных с района председателей

колхозов, после чего охотников связываться с варакшенцами уже не нашлось. С тех пор Варакшу окрестили семнадцатой республикой, и ни Кировская область, ни Горьковская, ни Костромская не желали ее видеть в своем составе и постоянно перепихивали из одной в другую. Так что многие наши люди до сих пор толком и не знают в какой области родились. И я в том числе...

Правда, в самой столице Варакши, селе Атаманове, после войны сколотить колхоз все же удалось, но вскоре районное начальство убедилось, что нашим людям по менталитету ближе все-таки зверье. Создали звероферму. Скормили зверью весь колхозный скот, после чего зверье частично разворовали, а частично выпустили на волю. Сами же помещения фермы, вольеры и контору, как у нас и принято с испокон веков, сожгли. Заодно сожгли и сельсовет и опять стали налегать больше на лесозаготовки, охоту, грибы и ягоды, чем на пустую подзолистую землю.

А к руководству Варакшей опять приступил батюшко Абросим — возможно самый либеральный поп в мире. Он вместе с мужиками валил лес и, чтобы не надрывать лошадей по пенькам и кочкам, на плече выносил к дороге шестиметровые бревна, словно жерди. На сплаве один снимал плоты с мелей и перекатов, а в Нижнем Новгороде в цирке, раздевшись до кальсон, валил одного за одним профессиональных борцов. Пил тоже вместе с мужиками. В церкви непослушного мог хряснуть по башке кадиллом. Мог обвенчать парня с девкой, но если та окажется не девкой, то тут же и развенчать по первому требованию жениха и повенчать с другой. Крестил детей, но если родне потом имя не нравилось, то запросто мог и перекрестить. А по праздникам, если наших мужиков начинали одолевать ветлугаи, или ветчененки, смело становился впереди и с криками: «Сарынь на кичку!» бросался на врага и так молотил своими пудовыми кулачищами во имя отца и сына, и святого духа, что враги так и рассыпались горохом.

ВЫПОЛЗОВ ПОЧИНОК

Мой родной починок назывался Выползов, потому что со всех сторон он окружен такими топями, что в них постоянно тонут скот, сдергивали со шкворней телеги и тарантасы, да и теперь, наверное, «новые русские», приезжающие на охоту, на своих внедорожниках, подолгу щупают в грязи полусгнившие бревна старых мостов и лежневок. Завидовала нам вся Варакша: к выползятям не только уполномоченный, а сам леший не проберется.

Но мы, конечно, знали, где и как безопасней из починка выползти, а потом заползти обратно. Родился я не в самом починке, как это записано в метрике, а километрах в трех от него под елкой в лесу, куда мать моя с бабушкой ходили за рыжиками. И жизнь моя сразу началась с несчастья. Для того чтобы донести меня до дому, бабушке пришлось высыпать на землю целое лукошко рыжиков. О чем она сокрушалась потом до самой смерти. Я же молчал всю дорогу и все решили, что я, слава богу, не жилец на этом свете. Не тут-то было! Дома на печи я заорал так, что всполошил весь починок. Прибежала ворожея бабка Дарья, взяла меня на руки и всю мою родню разочаровала:

— Живучой, дьявол! Погли-ко, у его и глаз, как у таракана светится.

С тех пор меня так в починке и прозвали: «тараканий глаз», хотя сколько я потом этих тараканов не рассматривал, никаких глаз у них не обнаружил.

Как с неприятностей все началось, так и пошло через пень-колоду. Повезла меня мать на салазках в соседний починок, чтобы сфотографировать и отправить фотографию на фронт отцу, которого, говорят, я перед отправкой обоссал, но я вывалился по дороге в сугроб. Мать этого не заметила, поскольку везла еще полмешка картошки,

чтобы заплатить фотографу за работу. Меня подобрал какой-то старик на лошади и, решив, что дите выкинули специально, стал возить по чужому починку с тем, чтобы меня кто-нибудь усыновил. Но кому я был нужен! Бедная моя мать, обнаружив пропажу, бегала туда и обратно и бесчувственная валялась в том доме, где меня должны были фотографировать. Наконец, объехав весь починок, старик решил всучить меня фотографу, справедливо решив, что тот попутно увезет меня в район, а уж там и решат, что со мной делать дальше...

Тут-то я, наконец, и нашелся. И орал потом три дня, требуя птичку, которая должна была вылететь из фотоаппарата. Орал, может быть бы, и дольше, если бы бабушка не подобрала на дороге замерзшего воробья и не заткнула им мне рот.

— На, супостат, подавись, ты этой птичкой!

Потом я с такою же наглостью ходил за ней, вцепившись в юбку.

— Баба, да-ай леденчик. Баба, да-ай леденчик.

Наконец она с грохотом открывала кованный медью сундук, долго рылась в одежах и совала мне в рот леденец.

— На, аделище ненасытное, подавись! Последний отдаю! От лешего, да от нечистой силы, можно хоть молитвой отойти, а от тебя ничем не отойдешь...

Но я точно знал, что леденец у бабки не последний, и через пять минут опять тянул, вцепившись в ее юбку и не отставая ни на шаг:

— Ба-а, ну дай еще. Ба-а, да-ай же...

Потом я стал слепнуть и возможно ослеп бы совсем, если бы не мой закадычный дружок Санька Забродин. Я обнаружил у бабушки в подвале горшок со сметаной и стал поедать ее потихоньку, приспособив вместо ложки щепку. И вот однажды бабушка за ужином возьми да и скажи как бы невзначай: кто много ест сметаны, тот может ослепнуть. И можете себе представить: у меня вскоре защипало глаза, как будто я съел несколько луковиц. Потом потекли слезы, и все вокруг стало расплываться. Всю ночь я не спал, а утром побежал к Саньке узнать: если ослепну насовсем и на оба глаза, то будет ли он водить меня за палку, как Митю Слепого с Баранова хутора водит его жена Пелагея.

— Ду-ррак! — твердо заявил Санька — Врет твоя бабушка. Это с голодухи можно ослепнуть, да и то частично, а от сметаны никогда!

Вскоре, правда, этот Санька едва меня и не погубил. Я объелся репой, и меня так схватило, что ничего не помогало: ни соль, ни полынь, ни трава толоконка. И Санька решил мне на брюхо поставить банки. Но поскольку банок во всем починке не было, он прилепил мне огромный глиняный горшок, подержав в нем горящую бересту. Поначалу все пошло хорошо и даже приятно. Боль прошла, но горшок затягивал мой живот все сильнее и сильнее, и вскоре привалила такая боль, что прежняя мне показалась вполне терпимой и даже ничтожной.

— Снимай! — заорал я Саньке.

Тот бросился ко мне, ухватился за горшок и начал меня катать сперва на кровати, потом на полу. Но горшок уже не отрывался. Все мои внутренности засосало в него, и я уже вроде бы почувствовал, как рвутся на мелкие обрывки мои кишки. Долго это продолжалось или нет — не помню. На мои вопли сбежался весь починок, но оторвать от меня горшок не смогли, сколько вместе с ним не волочили меня по избе. В конце концов, кто-то все же догадался разбить его то ли молотком, то ли поленом...

В общем много всяких страданий перенес я уже в детстве, а потом, как вы увидите, и того больше. Моя старшая сестра, Томка-няня, играя в лапту, привязывала меня мешковиной к себе на спину и, хотя бегала лучше всех, самодельный тряпичный мяч с зашитым внутри камнем-голышом то и дело попадал мне то в голову, то в задницу. Орать было бесполезно: сестра настолько увлекалась игрой, что не обращала на меня никакого внимания. Правда настолько развилась за счет меня, что потом, когда учи-

лась в Вятке в медучилище, в течение четырех лет была чемпионкой области по бегу на любые дистанции.

Однажды мы с Санькой поймали в лесу медвежат и понесли их домой в берестяных пестерях с тем, чтобы вырастить и продать в Вятку в зоопарк, но уже около самого починка нас догнала медведица, в клочья изодрала наши пестери и увела медвежат в лес. Нас, правда, не тронула, но испугала, конечно, до поноса.

Пробовали мы делать глиняную посуду, но при ее обжиге сожгли баню. Некоторое время мы были даже миллионерами, обнаружив в бабушкином сундуке целый рулон керенских денег. Но нас, как и всяких миллионеров, одолела жадность, и мы отправились в соседний починок, где наши сверстники точно на такие же деньги играли в очко. Но вернулись оттуда и без денег, и с красными соплями.

Одно лето подрядились пасти починовских коз, но поскольку они все время лезли в огороды и не давали нам купаться, сделали в лесу загон и до вечера держали их в этом загоне, пока они не обгрызли все жерди и не перестали доиться.

Однажды после охоты начали чистить дедушкино ружье и забили в него шомпол так, что ни взад, ни вперед. Сообразительный Санька зарядил целый патрон пороху, ружье привязал к огороду и за нитку из-за бани спустили курок. Шомпол выбило, но ствол разорвало на три части, а ложу вообще нигде не нашли.

Мог бы конечно и еще кое-что порассказать, да как вспомнишь, какими трепками все это кончалось, так и руки опускаются...

НЕЧИСТАЯ СИЛА

У нас на Варакше каждая деревня, каждый починок и хутор перед лицом бабюшки Абросима за что-нибудь отвечал: то за сбрую, то за телеги и сани, за колодцы, за глиняную посуду, за сети, за ульи, за тес, за стулья и табуретки, за лосиные петли, за деревянные бочки, за холсты и так далее. И только за лесозаготовки, за сплав и добычу живицы головой отвечали все. И не приведи бог, когда у нас по весне на эту живицу начинали собираться в Ветлугаевы боры. Шуму, гаму на всю Варакшу! Сначала целый день колеса от телег искали. Потом, когда телеги наконец собрали, начали сбрую искать. Нашли сбрую, но она оказалась непочиненной. Бросились за дратвой, да хомутными иглами. Дратву нашли, а хомутные иглы оказались в соседнем Новозаводском починке. Их туда еще в прошлом году шорнику Миките отдали. Побежали туда, но вернулись ни с чем. Выяснилось, что наши тоже в прошлом году взяли у них ведро с колесной мазью и две бороны и до сих пор не вернули. Ведро с колесной мазью кое-как нашли, а бороны оказались уже не у нас, а в Поповском починке. Побежали в Попов починок и тоже вернулись ни с чем. Там сказали, что пока мы им не вернем сани-розвальни, они нам бороны и не подумают отдать. Сани нашли у кого-то в сарае, но у них не оказалось ни оглобель, ни заверток. Сделали оглобли и завертки, погрузили сани в телегу, привезли в Попов починок, но тут обнаружилось, что не те сани-то привезли. У поповских-то и копылья шире, и полозья железом обиты, а у тех, что привезли, ни того, ни другого. Еще день потеряли, пока не нашли поповские сани у Васи Мезеря за овином. Наконец все-таки отправились, а нас, всю нетрудоспособную мелкоту, оставили на попечение бабки Прасковьи, которая настолько нас запугала нечистой силой, что мы и носу из ее избы высунуть боялись. Да мало того, за это самое запугивание заставляла Саньку еще писать письма своей дочери, которая, как говорят в починке, живет в Москве, держит губки «бантиком» и носит юбку «колоколом».

Вот сидим мы все по лавкам, а письму ее конца-края не видеть.

— Про Тимохину-то корову написал? — спрашивает бабка Прасковья, загляды-

вая Саньке через плечо.— Сбесилась, мол, корова-то от травы-дурману, да и убегла в лес, дак всем починком ее три дня искали.

— Да написал уже. Еще чего? — нетерпеливо спрашивает Санька.

— А про Грибаниху? Померла, мол, на девятом десятке, но еще бы, мол, жила, ежели не обрюхнулась в обабошном болоте в грозу.

— Про это не писал.

— Ну, дак вот и пропиши. Мол, гроза такая навалилась около Ильина дня, што так и думали: всем смертонька пришла...

Прикусив кончик языка от напряжения, то и дело обмакивая ручку в пузырек с чернилами из сажи, Санька торопливо вкривь и вкось пишет на листке синей оберточной бумаги большими печатными буквами.

— Ты бы гуагу-то разлиней, — подсказывает бабка.

— Сам знаю.

— Экой, ты какой, — ворчит Прасковья, — никак старуху уважить не хочешь.

— Да ты не перебивай, а то и вовсе писать не буду. Вишь, опять спутался...

— Ну-ну, не буду, пиши, знай.

Бабка Прасковья отошла было от стола, но что-то вспомнив вернулась обратно.

— Пропиши, мол, картошку посадила, брусники и клюквы ныне будет мало.

— Да писал уж про это! — все более раздражаясь выкрикнул Санька.— И про бруснику твою писал, и про катюхиного Мишку, и про картошку, и про дрова!

— А про колодец-то забыл? Сруб-то, мол, в колодце совсем сгнил, дак матка твоя к Тимохе по воду-то ходит...

— Писано и про колодец, сто раз писано!

— Ну, коли так, кланяйся, да зови на Покров в гости.

— Кланялся уж! Сколько же можно кланяться! — совсем вышел из себя Санька.

— Али кланялся? — с удивлением спросила бабка.

— Кланялся! Кланялся! — загудело по лавкам.

— Вот погляди, ежели не веришь! — сунул Санька под нос бабке письмо и стал водить пальцем по строчкам.— Во, видишь: от перегорященской Анютки, от кресной Шуры, от Варвары, от золовки Веры...

Наконец бабка взяла письмо, еще на всякий случай поднесла его к лампе, оглядела со всех сторон, заклеила недоваренной картофелиной в конверт и сунула за божницу.

— Ну, про чо вам сегодня рассказывать? — спросила она, увернув лампу.— Опять про нечистую силу, али чо?

— Давай ври про нечистую, — согласился Санька, — да позаковыристей.

— Мне врать — не деньги брать.

Бабка проворно забралась на печь, с которой свешивались до самого пола, старые половики, ватники и какие-то драные поддевки, улеглась там и, выставив из-за занавески голову, попросила не очень уверенно:

— Шурик, может, лампу-то еще вернуть бы, а то уж карасину-то больно много идет.

Санька недовольно хмыкнул и сделал вид, что уворачивает фитиль в лампе. Мы все поудобнее расселись на лавках и на полу и замерли.

— Ну, сказывать ли? — спросила бабка, зажмурив глаза и беззвучно шевеля толстыми губами.

— Сказывай. Сказывай, — слышались нетерпеливые голоса.

— Про Савелия, мужика свою, сказывала ли, нет ли? — задумалась Прасковья.

— Как на медведя ходил, что ли? — подозрительно спросил Санька.

— Не-е, за кладом-то...

Все отрицательно повертели головами.

— Давай про клад! — приказал Санька.— Да только не усни, как прошлый раз.

— Сном дорожки не изъедешь,— ответила бабка, крестясь и пожевывая.

— Пошел он, значит, Савеле-ет, дай бох царства небесного, за имя на Вознесенской неделе, а клад-то в Федюнином перелеске лежал...

— Ты, бабка, не ври,— перебил ее Санька,— откуда там клад-то, ежели там коров пасут?

На Саньку зашикали. А бабка, не обращая на него внимания, продолжала:

— Знать-то про то, конечно, в починке все знали, только брать-то боялись, потому как схоронен он был с нечистой силой. Но мой-то Савелий ничего, не боязлив был, пошел. Пришел в перелесок-то, а в то время тамо лес стеной стоял. Высокий лес-то — в небо дыра. Нашел место...

Санька открыл было рот и опять хотел что-то спросить, но его толкнули в бок.

— Нашел, стало быть, место-то,— повторила бабка,— и стал копать.

— Место-то как нашел? — не выдержал Санька.

— Место-то? — переспросила бабка.— Место известно было: три елки, да дуб сухостойный, под которым Полканову телушку волки задрали... Да ты бы не встретил, Шурка, не сбивал бы меня, памяти-то и так не стало...

— Ладно, рассказывай.

— Ну, копает он, стало быть, копает, матушки вы мои, и вдруг робость на него сошла. Уж так, говорит, сробел, што и голову от ямы-то поднять боится. А тишь-то в лесу, как в омуте, и темно, матушки вы мои, хоть глаз коли... Ему бы в этот момент молитву сотворить надо было, а все молитвы-то и перезабыл. Ну, все же собрался кое-как с силушкой-то, да и полез было из ямы. Тут-то она, матушки мои, как хряснет, как хряснет, да и заиграла, да и покатила по лесу-то. Воссияло в лесу-то, да и темней прежнего стало, а она, матушки вы мои, катится да играет, катится да играет...

— Кто играет-то? — боязливо спросил слабый ухом Гараська.

— Ну, знамо кто, нечиста-то сила,— перекрестившись на икону, отвечала бабка.— Клад-то разбойниками с нечистой силой схоронен был, али же я вам об этом не обсказывала...

За окошком давно опустилась ночь. В наступившей тишине слышно только, как где-то далеко в лесу ухаёт филин, да поскрипывает на ветру у дяди Михея дома колодезный журавль. За нашими спинами шевелятся жуткие косматые тени.

— Ну, а дальше-то чо? — испуганно тихим голосом спрашивает Гараська.

— Дальше-то? А пришел он уже под утро, Савелий-то, весь белый, как бумага, а шапка-то на голове у него так и шевелится, так вот, матушки вы мои, и шевелится.

— Да отчего шевелится? — спрашивает кто-то.

— Знамо от чего, от страху.

— Ну и чего потом?

— А стал он вот с той поры заговариваться, да и помер вскорости, дай бох царства небесного. Ишо-то баять? А то ведь темно на улице-то, спать надо бы...

— Давай, давай еще,— приказал Санька.— Письмо-то вона какое я тебе накатал.

— Пирога поели бы...

— Пирог само собой.

Бабка подумала, почесала рукой спину и спросила:

— В Трясунах Ваню Глухого знаете?

— Знаем,— ответил за всех Санька.

— А трясет его отчего?

— Говорят, уши себе спицей проколол, на войну идти побоялся.

— Ну, это уж вры! — взвился Гараська и даже вскочил с лавки. Ваня приходился ему каким-то родственником.

— Вот-вот,— обрадовалась Прасковья неожиданной поддержке,— мелешь ты Шурка не знамо што.

— Ну, врите дальше оба,— сказал усмехаясь Санька и пошел на кухню за пирогом.

Бабка Прасковья, воспользовавшись этим, несколько раз всхрипнула, но друг мой был на чеку.

— Ты рассказывай, рассказывай, не хрен храпеть-то...

Прасковья тяжело вздохнула и завозилась на печи, укладываясь поудобней.

— Рассказывай, чего он врёт! — выкрикнул Гараська.

— Пошел, значит, он однова тоже за кладом-то, Трясун-то, как мой Савелий, а за ним откуда не возьмись маленькая-маленькая собачка. Эдакая юрковитая и все у него под ногами крутится: мешает, стало быть, за кладом-то идти. Ну, Иван-то возьми ее сдуру-то, да и хлобысни сапогом. Вот тут-то его, матушки вы мои, вызняло, да и понесло по лесу-то... Три дня таскало, а на четвертый нашли его лесники под кокорой за сорок верст у самой Ветлуги.

— Ну, уж ты тут бабка совсем того,— засмеялся Санька,— чо она тебе самолет чо ли, твоя нечистая сила? Как же она его таскала?

— За волосы таскала, вот как! Он после этого и заикаться стал! — опять вскинулся Гараська.

— Врешь! — убежденно заявил Санька.

— Нет, не вру!

— Врешь!

— Сходи в Трясуны и спроси!

— И спрашивать нечего, трус твой дядя — и вся недолга.

Гараська, красный как рак, набросился на Саньку. Началась потасовка. Сторонников существования нечистой силы оказалось намного больше, и неизвестно чем бы закончилась схватка, если бы в самый разгар ее кто-то не заорал:

— Робя! Бабка-то уснула!

Санька выбрался из кучи и подбежал к печи. Бабка Прасковья действительно спала, похрапывая, присвистывая и сладко причмокивая губами. Санька бесцеремонно толкнул ее в бок. Она что-то промычала, повернулась на другой бок и захрапела уже на всю избу. Санька всердцах сплюнул и передразнил бабку:

— Вызняло, покатилося, покатилося. В башке у нее покатилося...

И УБИЛ ЗАПЯТУЮ

Нет, не бывать бы мне в том году школьником. Во-первых, мне и шести еще не исполнилось, а во-вторых, война: ни скинуть, ни одеть нечего. Всей и одежды было на мне — бабушкина кофта в горошек.

Ну, а уж если всю правду сказать, то не больно мне и хотелось в нашу починовскую школу. Что это за школа — смех и только! Всего-то одна комнатка в прирубке у деда Еврасима. И пол некрашенный, и окон всего три, хоть ты среди бела дня лучину зажигаешь, и тараканы на тебя из всех щелей смотрят, а в сенях какие-то драные хомуты, седельки валяются да рассохшиеся кадушки. И все четыре класса в одном.

А учительница Фаинка, внучка деда Еврасима, сама всего семь классов кончила и ходит-то в заплатанных чесанках да в каком-то перелицованном пиджачишке с деревянными пуговицами. И все-то зябнет, все-то зябнет...

Вот в Атаманове школа так школа! Все классы порознь, да плакатами, портретами, картами все увешано — прямо в глазах рябит. Даже глобус у них есть и библиотека.

Через нее-то, через библиотеку, я и попал в нашу починовскую школу, а если точнее, то через старшую сестру Томку. Принесла она оттуда книжку про Гулливера.

Само собой спрятала от меня. А чего прятать-то? Я благодаря ей же, Томке, и читать уже умел, и считать до сотни, и все стихотворения, которые она учила, знал назубок.

Так вот книжку эту я, конечно, отыскал в ее куклах, прочитал в бане у окна, и запало мне с тех пор в душу, что эти самые лилипуты в нашем патефоне живут. Иначе кто же, думаю, в нем петь-плясать будет? А ночью, наверное, выползают наружу подкормиться, потому что сколько бы я ни крошил около патефона хлебных крошек — к утру ничего не оставалось...

Конечно, я давно бы познакомился с этими лилипутами, если б не Томка. Она не только не подпускала меня к патефону, а и вообще всегда за руку меня с собой таскала.

Но вот и на мою улицу праздник пришел первого сентября. Мать, как всегда, на работу, а Томка — в школу. Я до винтика разобрал патефон, но лилипутов почему-то не обнаружил. Может, думаю, они в часы перебрались на жительство. И часы разобрал — нет лилипутов. Видно, в другой дом перешли, размышляю про себя, наверное, кормил плохо. А где для них чего взять-то! Сами, считай, одну картошку едим, да грибы, да свеклу еще сушеную вместо сахара...

Ну и отправили меня после хорошей взбучки на другой же день в школу. Точнее, не в школу, а как бы в детский садик, где я должен был сидеть в четвертом ряду вместе с той же Томкой, не болтать ногами, не разговаривать и молча писать в самодельной тетрадке огрызком карандаша всякие палочки и закорючки.

Тут-то вот я вскоре и отличился на зависть всему нашему починку. Было дело, привезли на лошади нарядную тетку из роно. Она посидела в нашей школе, походила по рядам да и спрашивает: кто, мол, какие стихотворения знает про войну. Я так и вскочил от радости:

— Я знаю!

Томка мне тут же подзатыльник, да уж поздно. Тетка из роно пошептала о чем-то с Фаинкой, усмехнулась и говорит:

— Ладно, иди к доске.

— А может тут? — не растерялся я, потому что выходить к доске мне не было никакого резона. Уж если рубаха на мне, перешитая все из той же бабушкиной кофты в горошек, была еще куда ни шло — всего с двумя заплатами, то штаны вообще состояли из одних заплат и держались даже не на лямке, а на обрывке чересседельника. Про обувь и говорить нечего: ночью мать сшила мне из старых кирзовых голенищ какие-то такие чувяки, что они еще по дороге в школу разъехались. Из одного пятка торчала, словно луковица, а из другого большой палец с огромным кривым ногтем.

— Ну, давай с места, — опять усмехнулась тетка. — Про что рассказывать-то будешь?

— Да хоть про что, — говорю, — хоть и про пограничника, хоть про «первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин...», хоть про танкистов...

— Ну, расскажи тогда про пограничника.

— Пожалуйста.

И, опасаясь, чтобы меня не остановили, я зачистил, будто из пулемета. А как дошел до места, где пограничник убил троих шпионов, но подкрался четвертый и нанес ему смертельную рану, тетка из роно замахала руками:

— Голубчик, голубчик, потише!

А тут еще на беду Фаинка впуталась:

— Коля, Коля! Здесь же запятая перед «но».

«Вот черт, что еще за запятая? — растерялся я. — Томка, когда заучивала это стихотворение, ни о какой запятой там речи не вела. Запятая... запятая, — бился пульс в моих висках. — Что же это? Да ведь это шпионка, радистка! — осенило меня. — Ну, конечно! Какой толк фашистам через нашу границу ходить, ежели они Гитлеру никаких сведений передать не смогут. А Томка — дур-ра! Главную строчку пропустила.

Ну и молодец же я, что вовремя догадался! С чувством и расстановкой я повторил куплет:

— Трех он убил, и убил Запятую, смертельную рану нанес...

— Подожди-ка! — округлила глаза роновская тетка.— Как это «он убил запятую»?

— Очень просто,— пояснил я,— из автомата и убил.

— Коля, а запятая — это что по-твоему? — опять вмешалась Фаинка.

— Как что? Шпионка немецкая, радистка...

Тут все и грохнуло. А Томку вообще скрутило от смеха так, что она даже одернуть меня не могла, вроде, как только трогала штанину. Однако меня не так-то просто было сбить с толку. Выждав, пока все утихло, я продолжал пояснять:

— Тут дальше в стихотворении все неправильно.

— Да почему? — утирая слезы, спросила роновская тетка.

— Да потому! — удивился я ее бестолковости.— Ведь трех он убил?

— Ну, убил.

— Радистку Запятую убил?

Тут опять все загоготали, даже первыши, а в стенку Еврасим чем-то стучать начал. И тогда мне ничего не оставалось, как выложить на парту нарезанные из малиновых прутьев палочки.

— Нате вам, сами считайте,— я отложил три палочки.— Трех он убил? Убил. Радистку Запятую убил? Убил. Значит всего четыре.

— Ну, хорошо, Коля, пусть так,— согласилась, наконец, тетка.— А дальше-то что?

— А дальше то и получается, что уже не четвертый к пограничнику-то подкрался, а пятый,— в упор уставился я на нее,— а кто это стихотворение писал, тот, наверно, считать совсем не умел. Вот что получается.

Тут уже от хохота вообще все окна в избе задрезжали, а со стены упал единственный портрет Мичурина.

Да только ведь не теперь сказано: хорошо смеется тот, кто смеется последним. Тетка из роно оставила меня после уроков, объяснила, что такое запятая, потом попросила почитать книжку, посчитать на палочках и самолично зачислила меня во второй класс. Мало того, выдала мне две настоящие тетрадки в линейку и в клеточку, «Родную речь», «Арифметику», ручку с запасным перышком «лягушка» и целый пузырек настоящих чернил.

А наши-то, починовские, как писали самодельными чернилами из печной сажи на газетных обрывках, так с тем и остались. И это была, как вы увидите, моя первая и последняя удача в жизни.

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Начальную школу я закончил с похвальной грамотой. Бабушка подержала ее перед глазами вниз головой и прилепила на хлебный мякиш в простенок на видное место. Всем в починке она начала хвастаться, что с таким образованием я не буду катать бревна, как все наши, а стану маркировщиком, а, может быть, даже и в десятички выбьюсь.

Конечно, так бы благополучно и сложилась далее моя судьба, как предсказала бабушка, если бы на мою погибель не вернулись с фронта мой отец и мамкин двоюродный брат дядя Саша — медвежатник. Он еще до войны ухлопал сорок медведей, а в войну двести сорок немцев. После первой четверти самогона, они долго по очереди шупали мою огромную от рахита голову и пришли к выводу, что с такой головой мне в починке делать нечего, а надо учиться дальше.

Потом вспоминали, как шли по Европе и как в каком-то городе Белграде для них все улицы устелили коврами, из которых, наверно, до сих пор бедные жители вытрясают вшей. Долго над этим смеялись, а потом взяли за вторую четверть. И когда ее ополовинили, начали немцам же и завидовать. Якобы у них даже в деревнях все живут в двухэтажных каменных домах, все ходят в суконных пинжаках с галстуками и в лаковых щелетах. Пьют вино прямо из бочек, а едят из серебрянных тарелок и серебрянными ложками. И папка мой под конец до того разъярился от этой зависти, что все наши деревянные ложки переломал через колено, а глинянную посуду расхрястал о пол.

Потом, когда они допили и вторую четверть, запрягли лошадь и поехали в район. Папка мой уже молчал, только скрипел зубами, а дядя Саша орал: пускай они, тыловые крысы, проведут нам в починок к Покрову электричество, асфальтированную дорогу, откроют школу-десятилетку и лесотехникум, а лично мне перекроют крышу!

В районе они дебоширили три дня. В чайной повыбивали все окна, а под конец дядя Саша из своего именного пистолета пострелял все чашечки на телефонных столбах и их обоих забрали в отрезвиловку. Папку моего на другой день отпустили, а дядя Саша из отрезвиловки выходить наотрез отказался и потребовал, чтобы его выводили оттуда со знаменами и под барабанный бой, поскольку лично товарищ Сталин, категорически запретил забирать Героев Советского Союза. Перетрусившие милиционеры собрали со всего райцентра флаги и знамена и под барабанный бой пионеров дядя Саша торжественным, церемониальным шагом покинул отрезвиловку. За это нашу Варакшу в районе возненавидели окончательно и в очередной раз пытались всучить Ветлуге. Правда крышу ему все-таки перекрыли, но электричества и асфальтированной дороги в наш починок так и не провели, не говоря уже о десятилетке и лесотехникуме. Поэтому-то и пришлось мне ходить за десять километров в Атамановскую семилетку. И как начитался я в тамошней библиотеке всяких книжек, так и сделался совершенно ненормальным вроде Коли Дедя, который за конфетку-подушечку такого наплетет за пять минут, что и за день не перескажешь. Начал я врать и настолько безбожно, что бабушка едва с ума не сошла. (Не с этого ли начинали все писатели и политики?)

Вот прихожу из школы и докладываю ей:

— А в Атаманове мужики неводом водяного вытащили, но отпустили, потому что тот пообещал нашу реку Какшу соединить с Волго-Доном.

Или:

— А в Чашебниках поймали лешего с лешачихой и лешаченком. Лешего с лешачихой в Вятку в зоопарк отправили, а лешаченка нам отдали в живой уголок.

Или:

— Вчера к Атамановскому мосту пираты на корабле причалили. Все магазины ограбили, а учителей наших перетопили, так что в школу недели две не надо ходить, пока новых не пришлют...

Бедная моя бабушка чего только не делала: и святой водой кропила, и четверговой соли на ночь привязывала, и к батюшке Абросиму водила — все бесполезно. Вру и вру, хоть ты рот зашивай. Потасили меня к ворожее бабке Дарье. Та разложила на столе сотню бобов, чего-то покумекала над ними и сообщила, что ничего путного в жизни меня не ожидает.

Бабушка добавила ей еще десяток яичек, а бабка Дарья в свою очередь добавила на стол бобов, но получилось еще хуже: на моем жизненном пути встал какой-то шкилет, после которого житуха моя, и без того беспросветная, станет еще хуже. А жизнь на Варакше вообще прекратится.

— Ну, а как насчет вранья-то, Марковна? — поинтересовалась вконец убитая горем бабушка.

— А то и скажу, Капитоновна: пушай врет, ежели без корысти. От этого вреда никакого и никому не будет...

— А ежели с корыстью?

— Ну, тогда хлестать его придется, как Сидорову козу. Только полотенцем не бейте, а то вредный сделается, и веником тоже нельзя,— теща любить не будет...

Поначалу, однако, я всяких скелетов стал побаиваться, и когда в Барановом волоку волки задрали мерина дяди Кузьмы, то скелет его, на всякий случай, обходил стороной. А также близко не подходил и к особо тощим мужикам, которых у нас на Варакише тоже звали шкилетами. Но поскольку ничего плохого со мной не происходило, то вскоре все и забыл...

АРТИСТ

В общем, врал я, врал, а потом всю эту вранину и стал посылать в районную газету «Красный льновод». Но оттуда вскоре пришло письмо с просьбой, чтобы я писал не «фантастику», а сообщал бы о значительных событиях, которые происходят у нас, и о трудовых достижениях. Господи ты, боже мой! Ну, какие же такие значительные события в нашем починке? Ну, бабы у колодца разругаются из-за утопленной бадьи, ну заблудится кто-то в лесу, ну волка или медведя кто-нибудь убьет. Или дед Протас уснет на своем смолокуренном заводишке, а котел-то переполнится, и его самого зальет смолой. А на другой день всем починком выдирают его из этой смолы. Так это што: трудовое достижение?

Вскоре, однако, все же напечатали крохотную заметку о том, что дед Флегонт больше всех в починке ивового корья надрал. Вот с этого все и началось. Пришел ко мне Сеня Жуйков с деревни Плясуны и поманил пальцем на улицу.

— Прихвати-ка бумаги да карандаш или ручку...— шепнул Сеня мне загадочно на крыльце.

— Зачем это? — спросил я его.— Письмо, что ли написать или заявление какое?

— Это я сам могу,— постукал Сеня согнутым пальцем по своей круглой, точно камень-голыш, голове,— насчет этого у меня котелок варит...

Я взял чего требовалось и вышел на улицу.

— Айда в баню! — не то попросил, не то приказал Сеня.

В бане он по-хозяйски осмотрелся, отодвинул в угол шайку с водой, причесался перед обломком зеркала, поправил ремень и обратился ко мне:

— Вот ты, значит, про старика тут в газете пишешь, а разве он заслужил это?

— Ну, как же,— обиделся я,— он же корья всех больше в этом году надрал, дедушка Флегонт-то, ему за это даже полушубок в сельпо обещают новый.

— Эх, ты! — сожалеюще покачал головой Сеня.— Ну что такое корье? Мелочь, ерунда, в руки, можно сказать, взять нечего...

— Но ведь напечатали же!

— Напечатали, хе-хе...— усмехнулся Сеня.— Да потому и напечатали, не знали, что он тебе родня. Вот погоди: дохнет кто в газетку-то, знаешь, чего тебе за это будет?

— И ничего не будет, он же не украл корье-то, а сам надрал в старой пожне, высушил и отправил на станцию. Он бы и еще больше надрал, да его тетка Канида заставила крышу на сеновале перекрыть.

— Сеновал, крыша, корье какое-то... Да разве есть во всем этом настоящего-то геройства хоть на полушку? На фронте-то он был, твой Флегонт?

— Нет, не был, ему же в прошлом году семьдесят лет исполнилось...

— Вот то-то и оно,— обрадовался Сеня,— а тут, понимаешь, люди воевали, танки, как говорится, зубами грызли, кровь лили.— Сеня поднялся и в волнении заходил по бане.

Я растерялся. Заметив это, он подсел ко мне и приказал:

— Ну, что сидишь? Записывай!

Кое-как примостившись на подоконнике, я открыл тетрадку. Сеня долго ходил из угла в угол, как бы глубоко задумавшись. Наконец он остановился и просветлел лицом.

— Значит, так: в одна тысяча девятьсот сорок втором году армию нашу окружили в болоте. Сидим день, два, неделю сидим, месяц... А фрицы по нам из пушек и пулеметов, из танков и минометов и днем, и ночью, и до обеда, и после обеда садят и садят. Потом вдруг: ша! Тихо... Ну, вызывает меня, значит, командующий и спрашивает: соображаешь, товарищ Жуйков, отчего немцы стрелять перестали?

— Никак нет, говорю, не соображаю.

— Голова ты, говорит, садовая: боеприпасы они берегут. Узнали, что вечером мы на прорыв пойдем, и экономят. А надо бы повытрясти у них припасы-то, с голыми руками к вечеру-то оставить. Мы, говорит, только что с вашим сельсоветом по рации связывались. Нам сказали, что ты пляшешь добро.

— Само-собой, отвечаю, все призы на праздниках мои были...

— Вот-вот, говорит, такого нам и надо.

Сеня заглянул мне через плечо и спросил:

— Успеваешь?

— Успеваю,— ответил я не очень уверенно.

— Тогда пиши дальше. Приводит он меня на высоту одна тысяча двести сорок один. Ну, на высоте, саперы, само-собой, уже настил сделали и лавочку для гармониста поставили. Командующий наливает мне из своей фляжки чистого спирту два стакана и говорит: ну Семен Александрович, не подведи: вся надежда на тебя...

— Я-то, говорю, не подведу, товарищ командующий, да только бы сапоги не подвели: каблук шибко сносились...

Тогда он, ни слова не говоря, снимает и отдает мне свои, яловые. Переобулся я, он обнял меня, заплакал и говорит:

— Вприсядку, Семен Александрович, вприсядку побольше старайся, тогда им, гадам, трудней в тебя угадать будет...

А я про себя посмеиваюсь: какой черт им в меня за два километра угадать, если дома, когда я плясал, в меня и с трех метров щепкой никто не попадал! Начал я, само собой с «цыганочки».

Сеня встряхнулся, несколько раз прошелся по кругу, отшвырнул в угол попавшийся под ноги веник, отступил к двери, хлобыстнул картузом о пол и пошел выделывать такие штуки, что вся баня заходила ходуном, а я сразу же перестал различать, где у него руки, а где ноги и голова.

*И-эх! Я цыганочку-игру,
Да лучше милочки люблю.
Когда буду помирать,
Велю цыганочку сыграть...*

В кучу золы вывалилось несколько кирпичей из каменки, и баня заполнилась серой пылью, но Сеня не обращал на это никакого внимания. Я уже совсем не видел его, а только слышал щелчки, дробы, треск половиц да дребезжание ведер и чугунков.

В починке залаяли собаки. Я высунулся в оконце. Около нашего дома остановилась тетка Махониха и, приставив к ушам руки, с беспокойством оглядывалась по сторонам.

— Дядя Семен, ты лучше рассказывай,— попросил я,— а то еще придет кто-нибудь...

Сеня опустился на скамейку, тяжело дыша и вздрагивая всем телом. Красная шелковая рубаша у него взмокла от пота, из хромовых в гармошку сапог выбились штанины.

— Нет, язви ее под корень, без гармошки совсем не то... Написал-то много?

Я молча протянул ему тетрадку. Сеня перелистал ее и заметил:

— Ты бумагу-то не береги, я тебе в случае чего принесу,— он оправил рубашу, поднял с полу картуз и, закурив папироску «Бокс», продолжал: — Вот, значит, пляшу я эдак-то час, другой, а фрицы молчат. Молчат и все тут, хоть бы разик стрельнули. Командующий, гляжу, совсем расстроился, эх, думаю, была не была: мигнул гармонисту, да и рванул под «Сентетюлиху».

Сеня опять не выдержал, вскочил с места и пошел впрыска, широко раскидывая руки и ноги, точно делал зарядку:

Сентетюлиха телегу продала,
На телегу балалайку завела.
Пригласите ко мне Колю-игрока,
Посадите в куть на лавочку,
Дайте в руки балалаечку,
Будет Коленька наигрывать,
Ну, а я буду наплясывать...

— Дядя Семен, придут ведь! — предупредил я, заметив, что около бани собирается народ.

Но Сеня ничего не слышал. Он остановился, рубанул рукою воздух и крикнул что было мочи:

— Вот тут-то, в этом самом месте, и не выдержали они, не сдюжили голубчики! Да кы-к жахнут по мне изо всех стволов, и пошло: гармонисту голову напрочь, мне тут же другого, и того убило, мне третьего, и тому конец.

— Дальше-то чего, дальше-то? — не вытерпел я.

— Дальше-то? — переспросил Сеня, широко раздувая ноздри.— Подползает командующий и кричит:

— Бери гармонь, нет больше в армии гармонистов.

Я, значит, беру гармонь и пошел, пошел! От подметок дым клубами, а мне все ничем: они что, мои сапоги-то... А вокруг-то меня, мама родная! Мины, осколки, пули, гранаты, бомбы! Командующий маячит руками: давай, мол, давай! А я про себя думаю: дурачок, да меня, если по хорошему угостить, так я хоть неделю без всякого отдыха пропляшу...

В моей голове от увиденного и услышанного все воспалилось, смешалось и перепуталось: пушки, минометы, шайки, веники, генеральские сапоги и Сенины частушки.

— Видят они, что дело пустое, и подтянули супротив меня тяжелую артиллерию, да как шарахнут шрапнелью-то, а я, один черт, пляшу и пляшу. Командующий-то орет, руками машет: хватит, мол, хватит уж, а я и остановиться не могу. Спасибо офицера утащили...

Сеня опустился на лавку.

— Прорвалась хоть армия-то? — спросил я, сторя от любопытства.

— А ты что думал, как миленькие прошли: у немцев-то на понюшку ничего не осталось, все на меня расхлопали...

Сеня смерил меня уничтожающим взглядом, вытер со лба пот и добавил:

— Так-то вот! А ты корье, Флегонт какой-то...

Я трудился целую ночь, а наутро вручил почтальону Митюхе огромный сверток с документальной повестью «Геройский поступок Жуйкова Сени».

Ответ мне пришел через неделю.

«Уважаемый товарищ корреспондент! — писали мне из газеты.— Мы очень сожалеем, что Семен Александрович Жуйков не совершал пока описанного вами геройского поступка, потому что не был на фронте. Однако о его таланте мы сообщили в районный отдел культуры»...

В тот же вечер Сеня сам прибежал ко мне сияющий, запыхавшийся и с какой-то бумажкой в руках.

— Во! Слыхал? В районе плясать приглашают! — сообщил он мне.— Узнали все же про настоящего-то артиста! А то Кольку Катюхина хотели послать, на смотр-то, нашли плясуна! Тьфу!

— Ты зачем наврал-то? — чуть не заплакав, в отчаянии спросил я.— Ведь у меня теперь ни одной заметки не напечатают!

— Да я виноват, что ли,— искренне изумился Сеня,— что меня на войну не взяли... А если бы взяли, все в точности так и было. Уж Сеня Жуйков не струсил бы... Не-ет! Тут уж, дорогой товарищ, извини-подвинься...

